

Večerka, Radoslav

Великоморавские истоки церковнославянской письменности в Чешском княжестве

In: *Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu*. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 493-524

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/119659>

Access Date: 29. 11. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

ВЕЛИКОМОРАВСКИЕ ИСТОКИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В ЧЕШСКОМ КНЯЖЕСТВЕ

1. Употребление древнеславянского литературного языка в период раннего средневековья в Чехии Пржемысловичей и значительный тематический, жанровый и стилистический диапазон литературного творчества, создаваемого на этом языке в Чехии, — факты, в настоящее время уже общепринятые и признанные наукой. Со времени деятельности Соболевского, снискавшего заслуги, что на грани XIX—XX вв. преодолел недоверие и даже скепсис предыдущего поколения славистов по отношению к старославянской письменности на территории Чехии,¹ картина славянской письменной образованности на территории Чешского государства стала в результате последующего изучения существенно полнее и яснее.² Последние издания Чехословацкой Академии наук в области литературоведения и языкознания, а именно „История чешской литературы“ и „Словарь древнеславянского литературного языка“,³ могли поэтому воспроизвести эту картину во всей полноте и богатстве. Тем не менее, все еще остается целый ряд открытых вопросов. Важнейшее место среди них занимает, в особенности, вопрос о том, продолжала ли церковнославянская образованность в Чехии традиции церковнославянской образованности Великоморавского государства, можно ли предполагать непрерывное существование славянского богослужения и древнеславянского литературного языка на нашей территории с их внедрения в Великоморавии в 863 г. до их насильственной ликвидации в последнем очаге — Сазавском монастыре в 1097 г.⁴

Если оставить в стороне чисто исторический аспект данной проблематики, то есть прежде всего вопрос о крещении Борживоя и об истоках христианства в Чехии вообще и, кроме того, вопрос о том, которые конкретно церковные институты, храмы и монастыри служили организационным базисом славянской письменности в Чехии до возникновения Сазавского монастыря, то филологический ответ на заданный вопрос могло бы дать само приурочение памятников чешского происхождения: если можно было бы доказать процесс возникновения церковнославянских литературных памятников чешского происхождения на протяжении всего X в., то это можно было бы считать веским аргументом в пользу признания непосредственной преемственности церковнославянской литературной деятельности на территории Великоморавии и в последствии Чехии. Но, к сожалению, ни один из до сих пор известных церковнославянских памятников чешского происхождения не имеет точной датировки.

Правда, целый ряд церковнославянских памятников чешского происхождения иногда приурочивается к X веку. Наряду с Первым старославянским житием св. Вячеслава, к этому веку относят Канон в честь св. Вяче-

слава, Второе церковнославянское житие св. Вячеслава, Житие св. Вита и др.,⁵ но ни в одном случае мы не располагаем такими явными и неоспоримыми данными о датировке этих памятников, чтобы перестать считать эти данные только гипотезой и чтобы они стали бесспорным и общепризнанным фактом.⁶ Попытки датировки большинства этих памятников не были до сих пор даже предприняты, и время создания памятников определялось только весьма приблизительно. Даже в отношении такого памятника, каким является Первое старославянское житие Вячеслава, взгляды расходятся, несмотря на то, что именно этому памятнику посвящалось большое внимание, для того чтобы определить время его возникновения. Правда, большинство исследователей относят этот памятник к середине X в.,⁷ но существуют и другие попытки, передвигающие его создание к концу X в. и даже к более позднему периоду.⁸

Уверенности нет и в датировке церковнославянских рукописей, возникших на территории Чехии. К X веку приурочивался до сих пор фактически единственный памятник, а именно Киевские листки, которые могли бы представлять настоящее связующее звено великоморавской и чешской письменности на древнеславянском литературном языке. Но и приурочение этого памятника к X в. только гипотетично, и правдоподобие такой датировки было, кроме того, в результате последних исследований поставлено под сомнение: из-за исключительной архаичности не только языка,⁹ но и письма и правописания,¹⁰ Киевские листки стали считаться памятником, восходящим по общему оформлению рукописи к Великоморавии;¹¹ такое предположение встречается пока с согласием.¹²

Только весьма недолго, в течение нескольких месяцев в 1959 г., казалось, что X в. станет богаче еще на два памятника чешского происхождения: на глоссы Ягича, написанные латиницей примитивным правописанием, и глоссы Патеры, считавшиеся раньше произведением перелома XI и XII вв. В журнале „Славия“ пришел тогда Э. Паулини к заключению, что те и другие глоссы следует на основании языковых данных отнести к X в. При этом он исходил из наблюдений, что в качестве рефлекса праславянского ξ в глоссах Ягича встречается e , а в глоссах Патеры e или a (рядом со спорадически встречающимися æ и en), между тем как первоначальное a после мягких согласных в тех и других глоссах обозначается буквой a . В многообразии графического оформления рефлекса первоначального ξ Паулини, как и Травничек,¹³ видят стремление писца передать фонетическую особенность древнечешского рефлекса праславянского ξ , а именно широкого \ddot{a} , переднебный элемент артикуляции которого выражался буквой e , а открытое произношение, близкое к a , — буквой a . Написание этого $\ddot{a} < e$, расходящееся с \dot{a} несомненно отражает тот этап развития чешского языка, на котором a после мягкого согласного различалось фонологически от \ddot{a} , возникшего из носового гласного. Но это состояние продолжалось в чешском языке только некоторое время, поскольку уже в период, предшествовавший древнечешской перегласовке $\dot{a} > \ddot{e}$, а после мягкого согласного в конце слова и между мягкими согласными внутри слова не отличалось от \ddot{a} . Это стадия, последовавшая после падения слабых редуцированных гласных и после депалатализации согласных типа $ln > tn$ и предшествовавшая слиянию a с \ddot{a} и перегласовке $\dot{a} > \ddot{e}$ (собственно говоря, уже $\ddot{a} > \ddot{e}$).¹⁴ Эта относительная хронология Паулини совершенно

точна и бесспорна. И поскольку Паулини еще мог древнейшими примерами древнечешской перегласовки считать известные и раньше обыкновенно приводимые примеры *čělenie* (род. ед. ч.) и *petikostie* (им. ед. ч. ж. р.) из Пражских глаголических отрывков — памятника, восходящего по своему рукописному оформлению к XI в., то он те и другие глоссы приурочил ко времени, предшествовавшему возникновению этого памятника, т. е. к X в. Только эта абсолютная хронология потеряла почву под ногами сразу после того, как Ф. В. Мареш в следующем же номере журнала „Славия“ показал, что в примерах, приводимых из Пражских глаголических отрывков, нельзя видеть отражение древнечешской перегласовки, а явление другого порядка — замещение писцом первоначально разных окончаний *-bje* и *-bja*, которые после стяжения редуцированных гласных в напряженной позиции с последующим гласным слились на чешской территории в неразличавшееся *-iä*.¹⁵ Собственно древнечешская перегласовка началась, по последним работам, посвященным чешской исторической фонетике, только около середины XII в. и закончилась только в XIII в., следовательно, она произошла около 1200 г.¹⁶ В результате этого перемещения необходимо предполагать для состояния языка, отраженного в глоссах Ягича и Патеры, более продолжительный этап, чем тот, который мог указать Паулини. Оба эти памятника необходимо, поэтому, даже соблюдая относительную хронологию Паулини, все же отнести — помимо прочего, также на основании культурно-исторических фактов — к 1100 г. Во всяком случае их приурочение к X в. теряет свою неоспоримость и остается всего лишь слабой возможностью.

Краткое обозрение церковнославянского литературного творчества чешского происхождения, следовательно, показало, что до сих пор отсутствуют однозначные данные, по которым можно было бы любой из известных памятников, помимо всякого сомнения, отнести к X в., хотя, конечно, возможно, что некоторые из памятников (как, напр., Первое старославянское житие св. Вячеслава) были, в самом деле, созданы в X в. Выводы относительно времени создания известных до сих пор памятников имеют условный характер, потому что они являются результатом умозаключений, сделанных на основании косвенных доказательств. Поэтому они теряют силу аргумента в гипотезах о преемственности старославянской письменной образованности на территории Великой Моравии и Чехии раннего средневековья.

В пользу признания этой преемственности свидетельствуют, однако, другие филологические аргументы.

2. В комплексе филологических данных, которые необходимо принять во внимание при решении вопроса о непрерывной преемственности и непосредственной связи между великоморавским и чешским изводом ст.-сл. письменности, занимает первое место характер и тип древнеславянского литературного языка, употребляемого в Чехии. Отдельные этапы формирования древнеславянского литературного языка и образования разных его изводов в настоящее время, хотя бы в общих чертах, освещены. Первоначальный этап развития древнеславянского литературного языка представлен языком первых литературных памятников, созданных Константином и Мефодием еще в Византии во время подготовки к их миссионерской и учительской деятельности в Великоморавском государстве; этот язык иногда обозна-

частся термином „протодревнеславянский литературный язык“ („прастарославянский язык“).¹⁷ На этот язык было переведено только незначительное количество основных текстов, фактически только книга евангельских чтений (евангелие-апракос).¹⁸ Он не сохранился в первоначальном виде ни в одной из известных до сих пор рукописей; но общепризнано, что был основан на болгарско-македонских говорах окрестностей г. Солунь. В этом языке были за праславянские *tj* (*kt*) и *dj* македонские рефлексы, по всей вероятности *k'*, *g'* (или другие специфические фонемы), обозначаемые первоначально, по всей вероятности, буквами Ц и М глаголического алфавита.¹⁹

На территории Великой Моравии этот литературный язык пришел в соприкосновение с великоморавским культурным диалектом, которым пользовались в произведениях народнопоэтического устного творчества, в статьях передаваемого устной традицией обычного права, во внутривнутриполитических, административных делах и в распространении христианства, проникавшего в пределы Великой Моравии уже задолго до деятельности Константина и Мефодия.²⁰ Древнеславянский язык балканского типа (т. е. „протодревнеславянский“, „прастарославянский“) приспособился в Великой Моравии к новому положению и новой среде в результате продуманной и целенаправленной деятельности Константина-Кирилла и его дружины письменников в отношении словаря, грамматики и фонетики (помимо прочего, и введением *c*, *z* за праславянское *tj*, *kt* и *dj* — см. более подробно ниже в § 3). Древнеславянский литературный язык великоморавского извода, сложившийся таким путем, стал орудием великоморавской литературы, которая получила значительное распространение и отличалась большим разнообразием в области стилистики и жанров. Этот этап развития древнеславянского литературного языка стал одновременно и пунктом отправления всего последовавшего развития этого языка во всех более поздних его изводах.²¹ Из них основополагающее значение для развития церковнославянской письменности и для облика и характера древнеславянского литературного языка и более поздних его изводов имела языковая норма, образовавшаяся на основании великоморавской нормы на территории Болгарии, куда отправилось значительное количество учеников Мефодия после разгрома, постигшего славянский литургический язык в Великоморавии после смерти Мефодия (885 г.). Здесь, в Болгарии, можно еще для конца IX в. и начала X в. предполагать реализацию второй преданмеренной реформы древнеславянской языковой нормы, результат которой уже хорошо засвидетельствован рядом рукописей т. наз. „канонических“ памятников древнеславянского литературного языка.²² Эта болгаризированная форма древнеславянского литературного языка (с *št* и *žd* за праславянское *tj*, *kt* и *dj*) стала официальным представителем старославянской письменности и питательной почвой, на которой произрастали и на которую наслаивались местные варианты — русский, сербский и хорватский.²³ На великоморавском изводе основывался, по всей вероятности, только словенский вариант, засвидетельствованный, впрочем, всего лишь единственной рукописью — II Фрейзингенским отрывком; во всяком случае необходимо считаться с тем, что древнеславянский литературный язык словенского извода остался помимо сферы более позднего болгарского культурно-языкового влияния.²⁴

Такое положение, следовательно, сложилось в развитии древнеславянского литературного языка в течение первых двух столетий с его создания. Возникает вопрос, какое место среди всех этих изводов древнеславянского литературного языка занимал язык, употребляемый в литературном творчестве Чешского княжества. Если правильна предпосылка о прерванности традиций великоморавской и чешской церковнославянской образованности и о более позднем происхождении церковнославянской письменности в государстве Пржемысловичей, то основой древнеславянского литературного языка чешского извода должен был быть некоторый из более поздних изводов древнеславянского литературного языка, — или непосредственно болгарский, или некоторый из тех, которые были созданы на его основании, скорее всего хорватский. (Древнеславянский словенского извода нельзя принимать во внимание. Он и в своей родной среде представлял настолько изолированное и периферийное явление, что не обладал силами нужными для культурной экспансии. Кроме того, нужно считаться с тем, что на словенской территории оказались прерванными традиции славянского письма, между тем как в Чехии служила письмом церковнославянской литературы глаголица.) Если, наоборот, правильно предположение, что славянское богослужение и древнеславянский в Чехии представляют собой прямое продолжение великоморавской образованности, то основой древнеславянского литературного языка чешского извода должен был быть древнеславянский литературный язык великоморавского происхождения. Поэтому необходимо дать более подробную характеристику великоморавской языковой нормы.

3. Сама общая картина древнеславянского литературного языка великоморавского извода не полна; она складывается только из отдельных фрагментов и следов особенностей великоморавской языковой нормы, сохранившихся в канонических памятниках древнеславянского литературного языка болгарского извода или же в других, более поздних списках памятников великоморавского происхождения.

Кроме того, в последнее время все больше сторонников приобретает мнение, что древнеславянский великоморавского извода сохранен прямо в связанном тексте — в рукописи, носящей название „Киевские листки“.²⁵ Их языковое оформление истолковал как норму великоморавского литературного языка Ф. В. Мареш.²⁶ По его мнению, в Великой Моравии, где в соответствии с близостью славянских языков и с сознанием славянского языкового единства²⁷ литературный язык воспринимался как торжественный, книжный вариант местного языка, произошла в внедряемом протодревнеславянском последовательная замена тех звуков, которые вообще не существовали в репертуаре звуков великоморавской языковой среды, местными соответствующими звуками; это значит, что болгарско-македонские рефлексy *t'*, *d'* (*k'*, *g'*) и *št'* за праславянские *tj* (*kt*), *dj* и *stj*, *skj* были заменены без исключения великоморавскими (прачешскими) рефлексами *c*, *z*²⁸ и *šč* в словах как *prosjece*, *potocъ*, *dazъ* (пов. накл.), *zaščiti* (пов. накл.) и т. п. Другие рефлексy праславянских звуков в языке балканских славян, как, напр., *rat-*, *lat-* за праславянское *ǫrt-*, *ǫlt-*; *s'*, возникшее в результате 2-й и 3-й палатализации заднебного *ch*; эпентетическое *l'*; *l* за праславянское *dl*, *tl* — сохранились в литературном языке Великой Моравии потому,

что их можно было хорошо произносить, и потому, что несколько другой фонетический облик слов с этими рефлексамии не представлял собой никакого препятствия для понимания; слова как *razdrěšenie*, *vъsъ*, *izbavlenie*, *molitva* и др., известные из Киевских листков, оценивались, по всей вероятности, из-за своей фонетической структуры как стилистические варианты, соответствующие домашним словам, варианты, относящиеся к „более высокому“ книжному стилю языка.²⁹ Также сохранились (а также получали стилистическую оценку) некоторые отличающиеся окончания протодревнеславянского, как твор. ед. ч. основ на *jo-* (*otъsemъ*), род. ед. ч. и вин. мн. ч. основ на *ja-* и некоторых местоимений (*blaženyjъ*, *močenicjъ tvoeje*, *dušje našje*), вин. мн. ч. основ на *jo-* муж. р. (*otъpadъšje*) или 2 и 3 л. ед. ч. изъяснительного накл. наст. вр. (*veseliši*, *privedeť*³⁰). Древнечешские формы вошли в употребление только там, где они могли встречаться уже в прастарославянском, хотя бы в качестве дублетов, то есть в твор. ед. ч. основ на *o-* (*obrazъmъ*), у которых уже раньше и на южнославянской территории начался процесс слияния с существительными основы на *u-*. Также формы, возникшие стяжением в местоименном склонении прилагательных, проникли только там, где они встречались как дублеты уже в прастарославянском, т. е. в предл. ед. ч. (*věšъněmъ*), в твор. ед. ч. (*svjetymъ*), в дат. мн. ч. (*poganъskymъ*), в твор. мн. ч. (*věšъnъmi*), между тем как в других местах стяжение в Киевских листках не произошло, напр. *věšъnoč*, *prinesenyje* и т. п.³¹

Последовательность этого изменения прастарославянской языковой основы, проведенного в памятниках великоморавского извода, Мареш объясняет особенностью исторического и культурного положения, в котором оно было реализовано: носители балканского и великоморавского культурных диалектов как живых языковых организмов находились в Великой Моравии во взаимном личном общении и общим трудом создавали орудие великоморавской письменности. Систематичность изменений одновременно свидетельствует о том, что она явилась результатом филологически продуманного замысла, который весьма уместно можно связать с работой велеградского центра Константина-Кирилла.

Трактовка Мареша отличается большим правдоподобием и снимает возражения против взглядов о чешском (моравском) происхождении Киевских листков; эти возражения появляются в славистике уже со времени Миклошича³² и встречаются — хотя уже только в отдельных случаях — вплоть до современности. Например, по недавнему выступлению польского исследователя З. Штибера, последовательность некоторых южнославянских и других, чешских (моравских) особенностей в языке Киевских листков не может быть результатом скрещения двух разных языковых структур, потому что в других случаях такое скрещение проявляется в церковнославянском литературном творчестве как непоследовательное чередование отличающихся друг от друга явлений в письменных памятниках; поэтому Штибер считает, что в языке Киевских листков обязательно сказывается какой-нибудь переходный западнославянско-южнославянский говор, в котором сочетались западные и южные особенности, по существованию которого только предположительно, потому что такие диалекты не были открыты и описаны.³³ В настоящее время, значит, последовательная компромиссность языковой нормы Киевских листков объяснена, так что, в са-

мом деле, можно считать этот памятник примером древнеславянского литературного языка великоморавского извода.

К тождественному, по сути дела, заключению, как и Мареш, пришел в последнее время также Ю. Шевелов, считающий, что древнеславянский был первоначально для Моравии не только предназначен, но что был определенным способом ориентирован к Моравии также по своему внутреннему устройству. Это, по его мнению, был, собственно говоря, искусственный язык, основанный на македонском диалекте, который Константин и Мефодий знали со своей родины, но приспособленный к той языковой среде, которая окружала братьев во время их литературной деятельности в Великой Моравии. Сам анализ языка Киевских листков Шевеловым проводится в обратном порядке, чем было принято до сих пор; он ищет в нем не моравизмы на фоне южнославянского языкового базиса, а южнославянизмы на фоне великоморавского базиса, потому что великоморавский базис был, по его мнению, первичным, а южнославянские элементы в рукописи памятника представляют собой вторичный „адстрат“, проникший сюда в процессе списывания великоморавского текста (на славянском юге).³⁴

Шевелов, следовательно, пропускает в своей схеме развития древнеславянского литературного языка этап, который в языковом отношении можно охарактеризовать как „македонский“, в литературном отношении — как „византийский“, и считает, что собственное начало древнейшего славянского литературного языка необходимо относить только к Великой Моравии.³⁵ Эта часть его концепции вряд ли будет встречена с общим согласием, в особенности потому, что теория о македонском характере протодревнеславянского литературного языка, опирающаяся на анализ первоначального устройства глаголицы, была в настоящее время укреплена обстоятельной и убедительной аргументацией Ткадльчика.³⁶ Но основная идея о специфически смешанном характере древнеславянского литературного языка великоморавского извода и о его создании путем целесообразного приспособления к великоморавской среде является общей для обоих авторов — и Мареша, и Шевелова, — и необходимо будет, очевидно, признать ее правильной.

Но было бы упрощением ожидать, что язык Киевских листков может сам по себе дать достаточно веское свидетельство об облике литературного языка Великой Моравии во всем его объеме и во всех его особенностях. Общее состояние языка великоморавского литературного творчества было, несомненно, более сложным, внутренне более разнообразным и в общем итоге менее нормализованным и менее урегулированным, чем это засвидетельствовано языком Киевских листков. Можно, например, предположить, что подлинники, написанные на прастарославянском языке не были в Великой Моравии сразу отменены, а продолжали оставаться в употреблении и, может быть, даже списывались в первоначальном звучании; таким образом в некоторых местах и в некоторых памятниках закреплялось исходное состояние, так что посредством македонско-болгарских учеников и помощников Константина и Мефодия могли проникнуть в некоторые памятники новые македонизмы и болгаризмы. Наоборот, все усиливающееся участие моравских учеников Константина и Мефодия в литературной жизни Великой Моравии могло способствовать проникновению все новых „моравизмов“ в литературный язык.

Менее всего, конечно, была единой та составная часть языка, которая менее всего связана с системой, т. е. словарный запас.³⁷ Некоторое наличие дублетов проявилось в древнеславянском литературном языке великоморавского извода также в области словообразовательных средств и вообще словообразовательных типов. Например, в Киевских листках, в соответствии с общим характером их языка, встречается только южнославянский префикс *iz-* (напр. *izvoliti*), не ощущающийся в великоморавской среде совершенно чуждым и отнюдь не непонятным; но совсем не засвидетельствован в Киевских листках севернославянский префикс *vy-*.³⁸ А все-таки, наряду с широким употреблением глаголов с префиксом *iz-*, необходимо признать особенностью великоморавского литературного языка образование слов при помощи префикса *vy-*, несмотря на то, что оно было гораздо менее частым и более ограниченным; это словообразование убедительно засвидетельствовано в канонических памятниках такими глаголами, как напр. *vyvesti* в Клоц или *vygoniti*, *vygъnati*, *vyrinoti*, *vyvrěsti* в Син Пс (все они, за исключением *vyrinoti*, встречаются также с префиксом *iz-*),³⁹ а может быть, также *wignan* из Фрейз II 9.⁴⁰

Другое явление, которое не реализовалось последовательно в древнеславянском великоморавского извода в направлении, отраженном в языке Киевских листков, — вытеснение суффикса *-ъstvovati*; в Киевских листках, в самом деле, засвидетельствовано только *česariti*, *chodataiti*, *blagoslovestiti*,⁴¹ но в памятниках, возникших в Великой Моравии, необходимо, наряду с ними, предполагать употребление глаголов с суффиксом *-ъstvovati*, даже от основ приведенных глаголов: *česarъstvovati* ясно засвидетельствовано, помимо прочего, также в евангелиях и псалтыри, *blagoslovestъstvovati*, *blagoslovestъstvovati* в псалтыри,⁴² и подобно тому, некоторые глаголы, образованные при помощи этого суффикса, как, напр., *svědělъstvovati* и т. п. были, по всей вероятности, составной частью уже великоморавской литературной нормы и не были внесены во всех случаях, где они в дошедших до нас рукописях встречаются, в текст более поздно, вне территории Великой Моравии. Следовательно, в этом отношении в литературном языке Великой Моравии существовал известный разнороб.

Подобно этому, давнее, относящееся уже к кирилло-мефодиевским временам (или к прастарославянскому) наличие дублетных суффиксов *-ъstvo/-ъstviје*, при помощи которых образовались существительные от глаголов, не было, вероятно, в Великой Моравии ликвидировано полной победой „моравского“ суффикса *-ъstviје*; хотя в Великой Моравии слова типа *čuvъstviје* сильно проникают в тексты, они все же здесь, несомненно, полностью не вытесняют слова типа *čuvъstvo*.⁴³

Другой моравизм или паннонизм в области словообразования — префикс *od-* в словах *odъlěкъ* и *odъneliže*⁴⁴ — Шевелов отрицает как недоказуемый, ссылаясь на македонское *od*.⁴⁵ Трудно найти прочные критерии для решения, прав ли в данном случае ван Вейк или Шевелов. Так или иначе, наличие дублетного префикса *od-* наряду с *ot-*, доказывает, что в Великой Моравии дублетные средства не всегда обязательно подавлялись.

Для ситуации в морфологии древнеславянского литературного языка великоморавского извода характерно соотношение форм род. ед. ч. *čyto* и *ničytože*, т. е., собственно говоря *česo/čъso*, *ničesože/ničъsože*. Формы с *-ъ* С. Б. Берипштейн считал моравизмами в отличие от южнославянских форм

с *-e*.⁴⁶ Но после издания этюда И. Курца необходимо будет признать обе формы южнославянскими дублетами.⁴⁷ И полностью соответствует взгляду Мареша об отношении создателя Киевских листков к дублетам этого рода то обстоятельство, что в Киевских листках встречается как раз форма *ničsože* б^г 16. Но эта норма, несомненно, не была единственно возможной нормой во всей остальной литературной продукции, создаваемой в Великой Моравии. Наоборот, как показал в упомянутой работе И. Курц, в протографах старославянских канонических памятников преобладали формы с *-e*, а формы с *-ь*, насколько они встречаются в памятниках, представляют в многих случаях неологизмы, проникшие в тексты только в процессе их списывания на южнославянской территории. Моравская среда, значит, не вызвала в этом случае полного преобладания того дублета, который совпадал с великоморавской нормой.

Но и сам известный морфологический богемизм (или моравизм) Киевских листков — последовательное употребление дублетной старославянской формы на *-ьтъ* в твор. ед. ч. существительных с основой на *-o-* — вряд ли можно считать общим для всей старославянской литературной продукции Великой Моравии. Ведь еще в глоссах Ягича, старославянском памятнике чешского происхождения конца XI в. или начала XII в. (см. ниже § 4), известная форма *zinitom* (= *сьнѣтомь*) свидетельствует о наличии твор. ед. ч. существительных с основой на *-o-* южнославянского типа даже для периода постепенного исчезновения старославянской письменной традиции на чешской территории.

Характер лишь непосредственного морфологического моравизма в великоморавской литературной продукции могла иметь форма род. п. местоимения 1-го л. *mne* (засвидетельствованная, в особенности, в Син Пс и Трѣб). Хотя она могла первоначально в великоморавских текстах встречаться чаще, чем это явствует из состояния сохранившихся рукописей, было бы, несомненно, совсем неправильно предполагать первоначальное наличие его во всех местах, где в памятниках встречается форма *mene*.⁴⁸

Как возможную моравскую диалектную особенность Шевелов толкует, кроме того, также форму им. п. местоим. 1-го л. мн. ч. *ny*, засвидетельствованную в Киевских листках (и однажды в искаженном виде в Клоц)⁴⁹. В других случаях в древнейших рукописях встречается, как правило, *ny*, а эта форма наличествовала, очевидно и в великоморавских протографах. Но даже если бы мы не признали происхождение формы *ny* из моравского диалекта, наличие дублетов *ny* / *ny* в великоморавских памятниках является, тем не менее, еще одним свидетельством того, что великоморавская норма литературного языка не была строго унифицированной.

Влияние великоморавской среды на древнеславянский литературный язык иногда видят в известных, однако только редко встречающихся, формах причастия настоящего времени действительного залога глаголов 1-го и 2-го класса, оканчивающихся носовым звуком (с хвостиком),⁴⁹ генезис которых изложил И. Курц.⁶⁰ По мнению Мошиньского, при их распространении играла важную роль первоначальная разница между южнославянской формой этих причастий (*body*) и моравской формой (*boda*), но также, как и в древнеславянском литературном языке, возникали аналогичные формы с носовым гласным также у северных славян, включая

славян на чешско-моравской территории, о чем, по Мошиньскому, свидетельствуют деепричастия, встречающиеся в современных говорах Моравии, типа *veda, pleta, lehňa*, образованные по аналогии к *seďa, pusta, hoňa*. В результате применения аналогичных форм с носовым гласным в тексте писец якобы сделал его более понятным для моравской среды, причем в древнеславянский литературный язык не вводился какой-нибудь „западнославянский“ элемент в собственном смысле слова.⁵¹ Слабым местом такого толкования является полная гипотетичность предпосылки о древнем существовании аналогичных причастных форм в чешско-моравской среде, всего лишь на основании современного состояния диалектов; об их древности нет, правда, достаточно веских доказательств, но, как утверждает Гебауэр, не может быть сомнения в том, что диалектное *veda* моложе, чем *veda*, также как и в русском.⁵² Следовательно, вряд ли можно понимать приведенные формы древнеславянских причастий как проявление приспособления к моравской языковой норме. Но процесс их распространения в древнеславянском литературном языке, если бы этот процесс вообще можно было отнести уже к великоморавскому периоду, доказывал бы, по крайней мере, лишний раз возникновение дублетности в грамматической норме языка великоморавской литературы, дублетности, вытекающей в данном случае из внутреннего, автономного развития древнеславянского, как литературного языка, из необходимости определенной семантической дифференциации, как это в основном изложил (в цит. статье) И. Курц.

Менее ясна пока ситуация в области фонетики древнеславянского литературного языка великоморавского izvoda. Кроме указанных рефлексов *s, z, šč* за праславянское *tj (kt), dj* и *stj, skj*, все другие предположения о фонетическом облике языка великоморавской литературы только весьма шатки. Одной из его особенностей, связанных со словацкой средой, считает Ю. Шевелов, например, недифференцированное произношение первоначальных слогаобразующих *r* и *l* (*-trjt-*) и первоначального соединения неслогового плавного звука с последующим глухим между согласным (*-trčt-*). В аргументации есть, правда, свое слабое место в том отношении, что для древнего состояния языка в Великой Моравии у Шевелова нет прямых данных, и он должен опираться только на современное состояние словацких и восточноморавских („моравскословацких“) диалектов.⁵³ Однако другой, более вероятной трактовки этого явления, которая опиралась бы на другой конкретный материал, пока у нас нет, и поэтому можно было бы принять предположение Шевелова в качестве рабочей гипотезы.

Еще более проблематичным является другое предположение, которое сам Шевелов формулирует только условно, а именно, что изменение *ъ > e* в словацком в слогах перед *ь*, описанное Шмилауэром,⁵⁴ указывает, вероятно, живую языковую основу т. наз. ассимиляции глухих в старославянских памятниках соответственно правилу Ягича об изменении глухих гласных.⁵⁵ Если вообще признать живой язык Великой Моравии основой этого изменения в древнеславянском, то опять-таки это было бы явление, которое реализовалось в литературном языке Великой Моравии только непоследовательно.

Непоследовательным проникновением изолированных рефлексов живого языка Великой Моравии или же великоморавского культурного диалекта в язык литературы могли бы считаться также примеры с сохранившимся

-dl- во втором Фрейзингенском памятнике (*modliti, modlim, vzdli* II 59, 36, 62). Возможно, правда, что в этих формах приведенных слов отразилась норма, как правило встречающаяся в некоторых северных и северо-западных диалектах словенского языка, но нельзя исключить и ту возможность, что мы имеем дело с западнославянским (великоморавским) элементом.⁵⁶ На фоне наличия одного -l- в Киевских листках (напр. *molimъ, molitvami* и др. 2^ч 2, 3) стало бы в таком случае весьма наглядным, как моравизмы постепенно и несистематически наслаивались на основной пласт литературного языка великоморавской литературы.

Характерно проявление великоморавского влияния при исчезновении взрывного элемента звонкой аффрикаты *dz* (возникшей в результате второй и третьей палатализации из праславянского *g*) и при ее слиянии с щелевым *z*, следовательно при изменении *тънози* → *тъноzi*. Это изменение происходило, конечно, и в самом древнеславянском уже с древнейших этапов его существования в качестве литературного языка. В Великой Моравии, где это изменение было, по всей вероятности, в языке населения завершено, в языке литературы оно в результате этого получило поддержку и усилилось. Об этом свидетельствует, например, большее количество примеров с одним *z* в более поздних (дополнительных) частях текстов евангелий,⁵⁷ конечно наряду с сохранившимся *z*, которое в многих случаях восходит к великоморавским подлинникам. Следовательно, в великоморавской среде не было достаточно сил для полного подавления и исключения из языка литературы фонетического варианта, не имевшего поддержки в местной языковой норме.

Следы древнеславянского литературного языка великоморавского извода в более поздних списках, хотя они в многих случаях становятся туманными и невыразительными,⁵⁸ позволяют сделать заключение, что строго нормирующая тенденция, проявляющаяся в языке Киевских листков прямолинейным и последовательным подбором и комбинированием болгарско-македонских, или великоморавских языковых элементов, не реализовалась в отношении времени и площади в древнеславянском языке великоморавского извода со всей последовательностью и без исключения. Наиболее последовательно были представлены моравские (или „прачешские“) рефлексy *с, z* праславянских *tj (kt)* и *dj* (насколько, конечно, в Великой Моравии не остались в обиходе некоторые более древние рукописи, соблюдавшие в известной степени еще македонский тип). Именно эти рефлексy представляют необыкновенно важный отличительный симптом местной принадлежности древнейших фазисов отдельных изводов древнеславянского литературного языка.

4. Картины древнеславянского литературного языка чешского извода отчасти воссоздают всем своим обликом памятники, относящиеся по своим рукописям непосредственно к Чехии, — Пражские глаголические отрывки, глоссы Патеры и глоссы Ягича; отчасти следы первоначальной языковой структуры проникают более поздними наслоениями в списках древнеславянских памятников чешского происхождения, какими являются, например, оба Жития св. Вячеслава, Беседы на евангелие папы Григория Великого, Службы Кириллу и Мефодию и др.

Основное значение для познания фонетической и грамматической стороны

древнеславянского литературного языка чешского извода имеют Пражские глаголические отрывки, фактически единственный связный, хотя и короткий и искаженный, текст, восходящий по своей рукописи непосредственно к Чехии и зафиксированный первоначальным письмом древнеславянской литературы чешского извода — глаголицей. Чешское происхождение памятника стало явным сразу же после его открытия,⁵⁹ и с тех пор особенности, характерные для Пражских глаголических отрывков, как для памятника чешского происхождения, приводятся, как правило, во всех пособиях по древнеславянскому литературному языку.⁶⁰

В области фонетики встречаются, прежде всего, последовательно с за праславянское *tj* (напр. *chvaljĕsimъ* I B 15), *z* за праславянское *dj* (напр., *rozъstvo* I B 16—17) и *šč* за праславянское *skj* (напр., *na sudišči* II B 21). Но кроме того, фонетика Пражских глаголических отрывков содержит еще другие доказательства чешского происхождения, а именно последовательно встречающееся *ž* за *ch* (после 3-й палатализации заднебных звуков) в словах, образованных от основы **vъch-* (напр., *všĕch* I A 17), далее непоследовательно реализованную группу *-dl-* (напр., *vъsedli* II B 12, *svĕtidlъna* I B 9—10, но *iselenъ* II B 10, *svĕtil'na* I A 22), непоследовательное отсутствие эпентетического *l* (*prĕstavenie* I B 25, но *na vprĕpolovenie* I A 7)⁶¹ и замена окончаний *-ie* и *-iĕ* (*pjĕtъtikostie* I B 4, *dara cĕlenie* II A 23 — см. более подробно выше § 1). Из морфологических богемизмов можно было бы привести форму род. п. местоимения 1-го лица *mne* (II A 18) и твор. ед. ч. существительных, образованных от основ на *-iĕo*, оканчивающихся на *-imъ* (напр., *udarenimъ* II A 5). Особую ситуацию отражают Пражские глаголические отрывки в отношении рефлексов носовых звуков; за *ĕ* встречается, как правило, *u* (например, *modlitvu* I B 13—14), а в результате возвратной аналогии писца буква *ĕ* иногда встречается и вместо этимологического *u* (напр., *romilqi* II A 18), в то время как буква *(j)ĕ* встречается, как правило, на местах, этимологически соответствующих (напр., *mje* II A 12 и мн. др.), и только в 8 примерах появляется на его месте *a* (напр., *postaviša* II B 21—22). Как показал Мареш, относительная последовательность и точность, что касается сохранения буквы *(j)ĕ* на месте первоначального носового гласного, вряд ли свидетельствует о сохранении носового элемента в данном случае (ведь второй носовой звук, *ĕ*, уже в произношении писца превратился, несомненно, в ротовой звук) — скорее всего можно это явление истолковать таким образом, что графеме для первоначального *(j)ĕ* была предоставлена функция обозначать фонему, возникшую из первоначального *ĕ* и отличающуюся от всех других вокалических фонем — а именно древнечешское *ä*. Несколько раз встречающееся *a* за *ĕ*, не соответствующее структуре чешского языка XI в., Мареш толкует как след русского оригинала, с которого был списан текст Пражских глаголических отрывков; впрочем, показательно, что в большинстве случаев это касается форм 3-го л. мн. ч. аориста на *-ša*, которые на чешской территории не имели опоры в домашнем обиходе (после того как здесь получило общее распространение первоначальное окончание имперфекта *-chu*).⁶² Следовательно, если признать, что непосредственный оригинал Пражских глаголических отрывков был русского происхождения, о чем свидетельствует, например, и полная форма дат. ед. ч. местоименного склонения прилагательного *slĕpotu* I A 22 (между тем как „классическая“ древне-

славянская форма звучала *slěpujemi* или более поздно *slěpuimtu*, *slěpimtu*, а чешская форма — *slepěmu*), то другие особенности морфологии Пражских глаголических отрывков — предполагаемые богемизмы — окажутся общесевернославянскими, а следовательно, и потенциально русскими. Это твор. ед. ч. основ на -о, оканчивающийся на -ѣть, опять-таки в соответствии с Киевскими листками, напр., *drěvъть križnъть* II В 10—11⁶³ (единственный бесспорный пример этого рода), и род. ед. ч. существительных от основы на -ја, оканчивающийся на -ě (*prěstavenie boč* I В 25 — но в других случаях обычно -je, напр., *otъ zemje* I В 26 и др.).

В языке Пражских глаголических отрывков, следовательно, переплетаются три разных языковых элемента: книжный старославянский, чешский и русский.

Через редкие языковые данные и несовершенную графику Пражских глосс (Патеры) в многих случаях проникает сходная картина языковой нормы древнеславянской литературы на территории Чехии Пржемысловичей, но уже на существенно более прогрессивной стадии; здесь опять встречается *s* и *z* за праславянское *tj* и *đj*, напр. *obogacen* 87 а 23, *ohozenim* (= *ochozenim*) 77b 14, сохранившееся *dl*, напр., *modla* 49b 10, и за праславянское *q*, напр., *ruki* 102a 4, твор. существительных от основы на -ijo — *-im*, напр., *ohilim* 130a 3, но, наряду с этим, еще и *rot-* за праславянское *ōrt-* в префиксе *roz-*, напр. *rozvazan* 145a 7 и формы, возникшие стяжением (чешского типа) местоименного склонения прилагательных, напр. *caſtego* 78 а 18 (= *častěgo*) и твор. ед. ч. существительных жен. р., напр., *pracu* 50b 3 (= *prácú*). Здесь проявляется в гораздо большей степени „богемизация“, чем в Пражских глаголических отрывках — истинно церковнославянские элементы в глоссах Патеры встречаются только в единичных случаях; это, напр., страдательное причастие наст. вр. *na vnosimu* 78 а 7, предлог *radi* (*togorad* 78b 9), может быть, и *cenſto* 111a 8 (*čęsto*) и из словообразовательных средств префикс *iz-*, напр., *izdrezana l. izd<olb>ena* 132b 1 (*izdrězaná vel izdolberná*), но, наряду с этим, уже и *vy-*, напр., *uidalſabi* 78a 11 (*vydal s'ä by*)⁶⁴ (см. префикс *vy-* уже и в древнеславянском великоморавского извода — § 3).

В глоссах Патеры, следовательно, в отличие от Пражских глаголических отрывков отличаются только два языковых элемента: книжный старославянский и чешский.

Менее убедительные заключения вытекают из анализа дальнейшего памятника, приводимого, по традиции, среди церковнославянских рукописей чешского извода — также написанных латиницей, отличающихся примитивным правописанием Венских глосс (Ягича). По мнению Ягича, они представляют собой переплетение древних форм и выражений древнеславянского языка с чешскими языковыми средствами. Симптомами чешской языковой среды Ягич считает *s* за *tj* (напр. *uidece* = *vidiece*) (развитие *đj* в глоссах, за неимением примера, нельзя проследить), сохранение группы *-dl-* в слове (*mo*)*dlit*, сохранение группы *-dn-* в слове *uednuut*, союз *ace* (*ačę*), префикс *roz-* (напр., *rozlucai*), формы, возникшие в результате стяжения: *prazne* (им. ед. ч. ср. рода местоименного склонения прилагательных) и *stahu* (3-е л. мн. ч. имперфекта).⁶⁵ Отчетливо выделяется здесь также слой книжного древнеславянского языка. По материалам Ягича можно привести, например, местоимение *ize* (*iže*), причастие и частицу в обороте

ne umienata ze (= *ne umъvenata že*), частицу и форму аориста в сочетании *da ulouili bise*, из морфологических явлений твор. ед. ч. существительных от основы на -o *zinimot* (*сънѣмотъ*) и род. ед. ч. местоименного склонения прилагательных *neuinnao* (= *nevinъnao*), из словообразовательных средств префикса *iz-*, напр. *izdazt*, а в области фонетики непоследовательно сохранившиеся следы произношения глухих (в написании *i*), напр. *cito* (*ѣто*). Кроме того Ягич находит в глоссах также симптомы хорватской среды, наиболее последовательно в рефлексах носовых — в графике глосс *e* < *ę* и *u* < *ę* (напр., *zetua* = *žetva*, *pristafe* = *pristaše*, *u mice* = *въ мѣсѣ*, *budut* = *будѣтъ* и т. п.), а спорадически и в других случаях, напр., в фонетическом складе слова *dellgi* или в таких словах, как *surcu*, *ucur* (= *вкуп*), имеющих аналогии в хорватских глаголических текстах.

Взгляды на глоссы развивались по двум направлениям. С одной стороны, чешский славист Ф. Травничек высказал сомнение относительно трактовки изменения *ę* > *e* и объяснил, что написание *e* в глоссах может обозначать фонетически близкий гласный *ä*, бывший первоначально ротовым рефлексом *ę* на чешской территории. Таким образом он поставил под сомнение главный аргумент гипотезы Ягича о наличии хорватского языкового элемента в глоссах и обозначил их памятником чешского происхождения.⁶⁶ Этот взгляд Травничека перенимает, в сущности, и Паулини.⁶⁷

С другой стороны, хорватский славист И. Хамм, подчеркнув, наоборот, хорватскую часть теории Ягича, высказал сомнение относительно большинства приводимых ботемизмов, в особенности относительно правильности трактовки *s* < *tj*; написание *s* в глоссах может обозначать также звук *š*, т. е. хорватский (кайкавский) рефлекс праславянского *tj*; хорватскими же являются, по его мнению, и рефлексы носовых гласных. Он считает, что глоссы были в латинскую рукопись библии вписаны чехом (вероятно, первым епископом в Загребе Духом), которому диктовал их кто-то из местных жителей — хорват. Следовательно, они в своей основе представляют хорватский извод древнеславянского литературного языка, только несущественным образом и подневольно приспособленный в некоторых местах писцом (чехом) к его произношению.⁶⁸

Хамм, без сомнения, совершенно правильно указывает на неоднозначность написания *s* в глоссах. На основании этого написания, в самом деле, нельзя с полной уверенностью заключить, что такие слова, как *widese*, необходимо читать с чешским *s*, но нельзя, конечно, утверждать и то, что это кайкавское *š*. Также правильной является и ссылка Травничека на неоднозначность написания *e*: в самом деле, по этому написанию нельзя точно установить, что слова, как *zetua* надо читать с кайкавским *e*, но нельзя считаться с полной уверенностью и с тем, что это древнечешское *ä*. Эти случаи из-за своей двузначности не могут стать исходным пунктом для анализа глосс; необходимо здесь начать с бесспорных примеров.

Чешская языковая среда в глоссах проявляется, как признает Хамм (26), несомненно в префиксе *roz-*, в форме *prazne*, возникшей путем стяжения, и, может быть, также в фонетическом складе глоссы *ne lacno*. Мне думается, что к ним необходимо добавить еще одну форму, возникшую стяжением, — *stahu* (т. е. *stáchu* — Мф 12.46, где в древнеславянских текстах читается *stoěcho*, а в древнечешском библейском тексте *stachu* — см. Ягич в привед. исслед. 8); вряд ли можно ее истолковать иначе, чем как ботемизм.

Также другие два случая, отмеченные Ягичем как богемизмы, — *-dl-* в *(mo)dlit* и *-dn-* в *uednuut* — Хамм зря слишком скрупулезно взвешивает, ссылаясь на подобные явления в периферийных словенских диалектах. Сама его трактовка страдает известным внутренним противоречием. Если Хамм считается с тем, что предполагаемый хорватский автор глосс произносил слово *rocivalifce* (т. е. *ročivališće*) с одним *-l-*, как в своем родном языке, то *-dl-* (а также и *-dn-*) приходились бы засчет языковых норм писавшего их чеха. Тем не менее, мы не относим их к явным и бесспорным богемизмам. Зато мы должны добавить к ним два дальнейших важных элемента. Это прежде всего союз *(n)ebo* за латинское *nam* Мф 17.14. Ягич и Хамм, правда, еще считаются с его существованием в древнеславянском литературном языке, но как показала М. Бауэрова, это недоразумение — союза *nebo* в древних церковнославянских текстах нет (за исключением одного примера в Фрейзингенских отрывках).⁶⁶ В результате подробного и детального изучения этой проблематики с точки зрения языковой географии, которое предпринял Я. Бауэр в общеславянском масштабе, причинный союз *nebo* (*t*) является специфическим чешским средством выражения.⁷⁰

Дальнейший богемизм, неправильно поставленный в статье Хамма под сомнение, — условный союз *ace* (= *ače*). Неоспоримым богемизмом („ein entschiedener Bohemismus“) считал его уже Ягич (в цит. исследовании, стр. 20). На более ранних этапах развития славянских языков этот союз был севернославянским средством выражения, в то время как у южных славян он встречался в форме *ako*⁷¹. Хамм ссылается в данном случае на древнеславянское *ačě*, которое могло бы скрываться под написанием *ace*. Но эта трактовка сталкивается с серьезными затруднениями. Из числа всех памятников, использованных для составления Словаря древнеславянского литературного языка (*Slovník jazyka staroslověnského*), издаваемого Чехословацкой Академией наук, союз *ačě* встречается только в Супр, а и то только в 3 случаях (308.22, 395.5 и 410.20).⁷² Следовательно, этот союз носил характер редкого средства, сверх того связанного с более поздним восточноболгарским текстом. В своих словарях не приводят его ни Срезневский (за исключением одного случая — союза *aci* из РПрав Влад Мон, вместо которого в некоторых рукописях имеется *ačě*)⁷³, ни Даничиц.

Кроме того, союз *ace* в глоссах Ягича ни по своему значению, ни по способу употребления не соответствует древнеславянскому *ačě*, засвидетельствованному в Супр. Последнее имеет значение противительно-уступительное (а рѣсе, а́кcoliv, тѣбаже, а между тем, хотя, *καίτοι*, *tametsi*, *atque*) и присоединенное им предложение обыкновенно находится за предложением, вместе с которым оно образует сложное предложение. В глоссах союз *ace* засвидетельствован в общем в четырех случаях: 1) Мф 18.13 при латинском тексте *et si contigerit* находится междустрочная глосса *i ace priclit ze* (= *i ače priključitъ sę*) (Ягич 20). Это начало сложного предложения с придаточным условным, предшествующим главному. 2) Мф 24.22 над латинскими словами *et nisi (breviati fuissent)* находится междустрочная глосса *i ace* (Ягич 26). Это опять начало сложного предложения с придаточным условным, предшествующим главному. 3) Мф 24.24 у латинского стиха *et dabunt signa magna et prodigia ita ut in errorem inducantur si fieri potest etiam electi* находится также (кроме других) на полях глосса *i ace budut*, которую Ягич относит к словам *etiam electi* (стр. 26). Связь не совсем

ясна, но не исключено, что глосса соответствует предложению *si fieri potest*, имеющему форму условного предложения в функции ограничительного предложения; *ace* выступало бы тогда в качестве переводного эквивалента латинского *si*, также как и в двух предшествующих примерах. 4) Мф 24.43 под латинскими словами *scitote, quoniam si sciret* на нижних полях столбца написана глосса *iaco i ace* (Ягич 27). Это опять-таки эквивалент латинского *si* в условном придаточном предложении, предшествующем главному. Следовательно, кроме неясного примера № 3, в глоссах еще трижды употреблено *ace* в таком значении и в такой синтаксической конструкции, которые вовсе не засвидетельствованы в известных примерах с *ace* в древних церковнославянских текстах; эти случаи тем не менее точно соответствуют севернославянскому *aše*. Только таким образом, поэтому, можно прочесть приведенные глоссы в латинской библии Радона — и следовательно *ace* (= *aše*) является в глоссах неоспоримым богемизмом.

Наличие неюжнославянских, чешских союзов, т. е. самостоятельных лексических единиц чешского происхождения в глоссах, опровергает предположение о наличии одной тонкой чешской фонетической оболочки глосс, имеющих основой древнеславянский хорватского извода, и разрушает представления об их хорватском авторе и чешском писце диктуемых церковнославянско-хорватских выражений, как утверждает в приведенной статье Хамм.

Следы хорватской среды в глоссах проявляются гораздо менее отчетливо и убедительно. Если оставить в стороне рефлекс (в графике) $e < \varepsilon$, что, как было показано выше, не бесспорно, и если принять во внимание также то, что приведенные выше примеры *iscip* и *ircisi*, имеющие параллели в хорватско-глаголических текстах, являются, по сути дела, церковнославянскими выражениями и в чешской среде имели бы ту же фонетическую структуру, остается лишь несколько неоднозначных отдельных случаев. Это, во-первых, глосса *ot seuera* (т. е. *oť sěvera*), относящаяся к латинскому *auster*. Ягич не сумел ее объяснить, Хамм же предлагает такую трактовку, что тот, кто давал славянские эквиваленты латинских слов, мог произвольно связать латинское *auster* с *Austria*, т. е. с названием страны, которая по отношению к нему находилась „на севере“. Но сам проф. Хамм высказывает свою гипотезу только условно, и так мы должны отнести этот пример в лучшем случае только к возможным отражениям хорватской среды в глоссах.

Следующей глоссой, приводимой — впрочем, уже и Ягичем — в качестве симптома хорватской среды, является слово *delligi*, перевод латинского текста *spatiosa via* Мф 7.13; Ягич ожидал бы в этом случае в качестве чешской формы *dlugi*, или же *dlgi* (засвидетельствованное в глоссах Патеры), также как в слове *ulna|mi|* в глоссах Ягича (см. стр. 34—35). Но и этот пример не является совершенно бесспорным. Во-первых, мы точно не знаем, что, собственно, могло в глоссах обозначать написание *-ell-*. Во-вторых, необходимо констатировать, что, кроме древнечешских выражений в латинском контексте, то же самое написание первоначального *l* засвидетельствовано и в собственно древнечешских текстах, напр. *velna* Ном. 63а и что, кроме того, *el* за древнее слогаобразующее *l* появляется в чешских диалектах (в Крконошах, в южной Чехии в районе г. Домажлице, в север-

ной и восточной Моравии).⁷⁴ Поэтому нельзя глоссу *dellgi* безо всяких сомнений считать исключительно хорватской.

Таким же неясным или, по крайней мере, двузначным, является и пример *zuitzet bo ze — rutilat enim* Мф 16.3. Хамм ссылается в этом случае на сербохорватское *svitati — svićem*, засвидетельствованное уже у древних авторов (там же 25). Но Ягич здесь читает *s*, потому что написание *tz* обозначает *s* и в другом примере, в котором *tz* в глоссах еще появляется, а именно в слове *finetz* — см. прив. исследование 32 — 33. Впрочем, здесь мы имеем дело с древним *tj*, которое остается, в общем итоге, в группе двузначных примеров.

Следовательно, ни одно явление в языке глосс Ягича не свидетельствует о какой-нибудь хорватской примеси совершенно несомненно. Этот факт — при наличии бесспорных следов чешской языковой среды в глоссах — дает без всяких сомнений методологическое обоснование толковать и явления, двузначные по написанию или же общие по фонетике (как, напр., значение графемы *s* на месте первоначального *tj*, значение графемы *e* на месте первоначального *ε* и рефлекс *i* за перв. *ǫ*) как чешские, т. е. как *s*, *ā* и чешское *u*. Но мы не хотим углубляться в такие подробности, поскольку целью этой статьи не является подробное изучение генезиса глосс Ягича. Для наших размышлений совершенно достаточно установить, что в глоссах Ягича, наряду с легшим в основу глосс книжным древнеславянским языком — что не подлежит сомнению — присутствует совершенно очевидно чешский, а может быть, и хорватский языковой элемент.

5. Фонетическая и грамматическая сторона древнеславянского литературного языка чешского извода, которой мы только что занимались, позволяет сделать первые выводы о происхождении литературного языка в Чехии. Уже само сравнение единственных двух связанных текстов, которыми наука пока располагает — Киевских листков, отражающих определенным образом норму языка Великой Моравии, и Пражских глаг. отрывков, представляющих славянский язык литературы в Чехии, доказывает, что в чешской рукописи совершенно последовательно содержатся все богемизмы (или моравизмы), как и в великоморавском тексте, а кроме того, хотя не во всех случаях последовательно, и некоторые другие богемизмы. Благодаря этому, можно непосредственно и наглядно проследить, как в результате продолжительного существования на чешской территории богемизировалась и стихийно, и сознательно великоморавская языковая норма, как в Чехии наслаивались специфические, в многих случаях и выразительно более поздние напластования именно на великоморавскую языковую основу.

Важное место в этой аргументации занимали, в особенности, рефлексы *s* и *z* за праславянское *tj* (*kt*) и *dj*. В качестве типично чешской (т. е. общей для Моравии и Чехии) особенности они, правда, могли бы теоретически проникнуть в язык литературы только в Чехии, даже если принять гипотезу о более позднем проникновении древнеславянского литературного языка в Чехию из других славянских областей; но последовательность их реализации в древнеславянском чешского извода, засвидетельствованная совершенно правильным их соблюдением не только в Пражских глаголических отрывках, но и в глоссах Патеры (а может быть, и в глоссах Ягича) (см. выше § 4), исключает эту возможность. Если бы в Чехию около

1000 г. проник древнеславянский литературный язык какого-нибудь другого извода с другими рефлексам праславянских *tj* и *dj*, то чешские *c* и *z*, с большим правдоподобием, проникали бы в него, но только спорадически и несистематично. Мы должны были бы ожидать смешение языковых элементов, возникшее в результате столкновения зафиксированных литературных текстов с живой языковой средой, аналогичное тому, какое мы находим, например, в письменных памятниках древней Руси. Полная последовательность реализации чешских рефлексов *c* и *z* в древнеславянском литературном языке чешского извода может быть объяснена только таким образом, что эта весьма характерная особенность была присуща уже той литературно-языковой основе, на которой стала развиваться традиция языка литературы в Чехии. Это был, как мы уже убедились (см. § 3), древнеславянский литературный язык великоморавского извода, поскольку именно в Великой Моравии сочетались три обстоятельства, благоприятствовавшие созданию этой нормы: понимание древнеславянского литературного языка как книжной формы местного языка, наличие македонских фонем *k* и *g'* (или *t'* и *d'*) в текстах, принесенных в Моравию, фонем, не существовавших в языке населения Великой Моравии (т. е. в Моравии непроницаемых, какой бы их фактическая реализация оттенков ни носила), живое общение носителей обоих диалектов (солунского и моравского) и их общее участие в целенаправленном процессе создания норм литературного языка Великой Моравии.

Но в результате сравнения языка чешских рукописей обнаруживается еще одно, чрезвычайно интересное явление, которое играет важную роль в решении вопроса о происхождении древнеславянского литературного языка чешского извода. Во всех памятниках, относящихся по своим рукописям к Чехии, было установлено наличие пластов церковнославянского (книжной нормы) и чешского (т. е. восходящего к чешской и моравской территории) языков. Это была общая черта всех анализированных памятников чешского происхождения. В противоположность этому между ними существовало принципиальное несогласие в характере еще одного пласта, относящегося к другой славянской среде: в глоссах Патеры такой элемент отсутствует, в Пражских глаголических отрывках были обнаружены языковые следы их русского образца,⁷⁵ и в глоссах Ягича можно — но только весьма предположительно — допустить наличие хорватского элемента. Если бы древнеславянский литературный язык проник в Чехию уже после того, как были прерваны древние отношения и связи с Великой Моравией, т. е. с какой-нибудь другой славянской территории, то мы должны были бы ожидать, что эта другая славянская среда наложила бы и свою единую и общую печать на норму языка литературы в Чехии. Но ничего подобного не наблюдается.

Отсутствие в древнеславянском чешского извода одной общей примеси, относящейся к другой славянской среде, свидетельствует также о том, что язык литературы не мог проникнуть в Чехию окольным путем и в более поздний период из другой славянской среды, что, следовательно, в Чехии пользовались древнеславянским литературным языком, сложившимся прямо в центрах культуры Великой Моравии.

6. В более поздних списках памятников, протографы которых были

созданы в Чехии Пржемысловичей, древние связи чешской языковой нормы с великоморавской, правда, менее явны, но все же их можно обнаружить, хотя бы в неясных следах. Ситуация, конечно, затруднена тем обстоятельством, что те явления, которые в более поздних списках, сделанных в другой славянской языковой среде, кажутся характерными особенностями языка памятников этого рода, могут скорее всего считаться „богемизмами“ в широком смысле этого слова, т. е. явлениями, которые могли в язык памятника и вообще в литературную норму проникнуть в Великой Моравии также легко, как в последствии в Чехии. Известные и приводимые, как правило, выражения типа *račiti* и т. п. или заимствования из латинского, типа *тъša, križь* и др., или древневерхненемецкого, как, напр., *rovanije, vьsodъ* и т. п., кальки, как напр. *vьsemogujь* и т. п., не представляют собой настолько специфические „моравизмы“, чтобы их нельзя было истолковать также на основании чешских языковых и культурных условий — хотя связи, образованные этими и им подобными языковыми средствами между Киевскими листками и, напр., Службами Кириллу и Мефодию, Первым старославянским житием св. Вячеслава, Каноном в честь св. Вячеслава или Беседами на евангелие, конечно, достойны большого внимания. Но для решения нашего вопроса было бы методологически необходимо выделить из числа таких архаических элементов тот слой языковых средств, который был бы присущ древнеславянскому литературному языку уже в Великой Моравии, но который одновременно не происходил бы прямо из нашей этнической и культурной среды и сверх того подавлялся бы и исключался бы из литературы в течение последующего существования великоморавских текстов на славянском юге как книжный архаический элемент. Если бы удалось установить наличие такого слоя в литературных памятниках, относящихся к Чехии, то это способствовало бы признанию непосредственной преемственности древнеславянского литературного языка великоморавского и чешского изводов. Кажется, что некоторые языковые факты можно было бы рассматривать именно под таким углом зрения.

Например, слово *rěsnota* и другие слова, образованные от той же основы (*rěsnujь, rěsnotivьnъ* и т. п.) считаются „панноизмами“, которые в списках, сделанных на славянском юге, заменялись словом *istina* и другими словами, образованными от той же основы.⁷⁶ А притом *rěsnota* и др. засвидетельствованы в текстах, восходящих к Чехии. Ф. Гривец из их наличия в хорватских глаголических списках Служб Кириллу и Мефодию даже заключал, что эти памятники имеют свои корни в Паннонии, только потом прошли через чешскую языковую среду, а оттуда попали на хорватский юг, где и сохранились в рукописном виде.⁷⁷ Но на самом деле, эти слова засвидетельствованы и в других памятниках чешского происхождения, напр., в Первом старославянском житии св. Вячеслава⁷⁸ и, таким образом, свидетельствуют не о чем другом, как о том, что они входили в язык литературы Чехии как книжные термины, перенесенные туда и с литературной продукцией той среды, в которой проникли в литературное употребление, т. е. Великой Моравии.

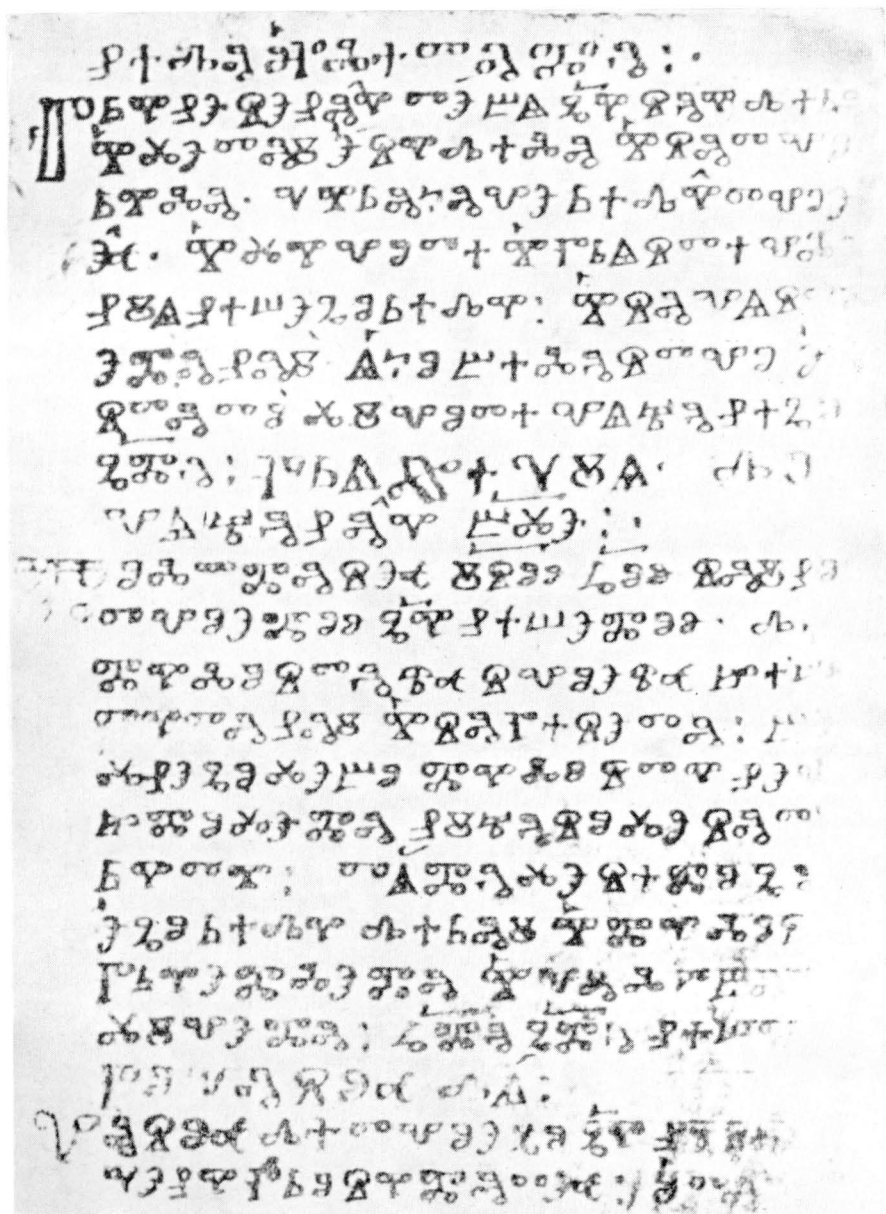
Подобно этому можно было бы рассматривать как книжные уже в самом великоморавском языке средства, не основанные на домашней норме; из Бесед папы Григория Великого, напр., *propeti* и, может быть, еще и другие выражения,⁷⁹ из Первого старославянского жития св. Вячеслава

архаизмы как *naustiti*, *obiděti*, *iskrěnjъ*, и т. п.⁸⁰ Вероятным кажется и взгляд Мареша, что *lěta obidušta*, *lěta obrъchodjašta* за латинское *annuus* из Бесед, имеющие более древнюю аналогию в Киевских листках (*lěta obidočě*, *ogrjědočě*) представляют собой, как весьма специальный книжный оборот, продолжение традиции периода Великой Моравии.⁸¹ Менее бесспорно такое происхождение в случае оборота *čьstь* (или *čьsti*), *čьstiti* (*čьisti*) из Служб Кириллу и Мефодию по новлянской рукописи (к которому также есть аналогии в Киевских листках), хотя в других памятниках этот оборот не встречается;⁸² в отличие от предшествующего словосочетания этот оборот имеет такое значение, которое необходимо было, вероятно, часто выражать, следовательно, оно могло основываться на живой языковой норме и могло бы представлять „богемизм“ того рода, о каких было упомянуто выше.

Из фонетических явлений заслуживают в этой связи внимание примеры изменения *olt-* > *alt-* в Беседах, а именно *alkanije* (*abstinentia*) 82 b 5—8, *al/dъ* вин. ед. ч. *navi* 18 b 23 и *alini* (*transacto anno*) 67 b 35; искаженная запись последних двух примеров свидетельствует о том, что для русского писца такое звучание не было обычным, как установил Мареш; поэтому он считает их древнеславянскими архаизмами или явлением, которое в XI в. в Чехии все еще встречалось.⁸³ Но предпосылка о чешском происхождении этого фонетического облика приведенных слов мало правдоподобна, поскольку такое развитие на чешской территории никаким другим образом не засвидетельствовано. Зато в прастарославянском и на его основании и в древнеславянском великоморавского извода эти слова несомненно существовали, доказательством чего является, например, в случае *alъkati* совпадение текста древних апракос-евангелиев и тетраевангелий Мар, Остр, Асс, Сав в стихе из Лк 6.21 (но в Зогр в этом случае *la-*).⁸⁴ Это был, по всей вероятности, славянский архаизм, существовавший на периферийной территории и отражавший языковую действительность славянских диалектов Балкана, какого обычно излагают и как изложил ее и сам Мареш в одном из предшествующих исследований.⁸⁵ В дальнейшем развитии эти редкие обороты исключались из текстов и их наличие в памятнике, возникшем в Чехии, можно было бы скорее всего объяснить так, что они в текст проникли с языком литературы еще в его великоморавском изводе.

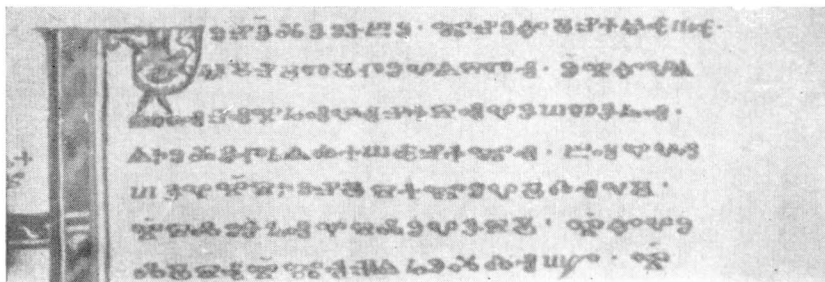
Что касается грамматических явлений, необходимо снова вернуться к Беседам, в которых в местоименном склонении прилагательных привлекают внимание часто встречающиеся — наряду с формами, возникшими стяжением, и местоименными формами — формы, в которых стяжение не реализовано, и в большинстве случаев отсутствует и ассимиляция гласных (*-ajego*, реже *-aago*; *-ujetu*, реже *-uuti*), несмотря на то, что в сохранившихся списках они явно устранялись и, следовательно, их число, по сравнению с чешским протографом, на русской территории, очевидно, стало меньше. Мареш, описавший это явление, объясняя его, приводит две возможности: или мы имеем дело с церковнославянской традицией, или необходимо считаться с тем, что в Чехии, в отличие от Моравии, в течение более продолжительного времени, оставались в живом языке в употреблении нестяженные формы,⁸⁶ и они способствовали соблюдению одинаковой нормы и в языке литературы. Пока что нельзя решить этот

1. Пример глаголического письма древнейшего типа

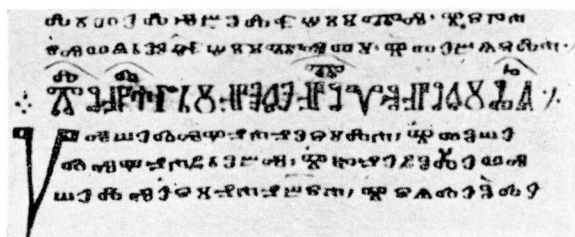


1. Киевские листки, рукопись начала X в. (или конца IX в.?) (репродукция сгибка в публикации J. Vajs: *Rukovět hláskové paleografie*, Praha 1932)

II. Примеры глаголического письма болгарско-македонского типа

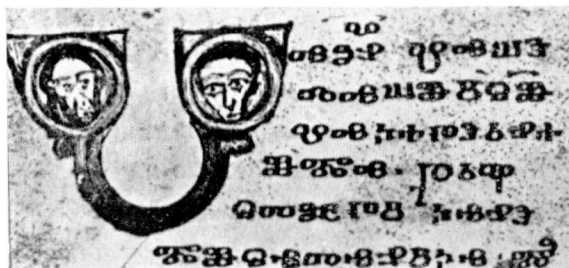


2. Зографское четвероевангелие, рукопись конца X в. (репродукция снимка в публикации V. Jagić: *Quattuor evangeliorum codex glagoliticus*, Berlin, 1879)

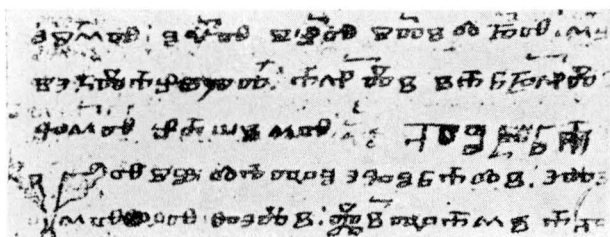


3. Синайский требник, рукопись начала XI в. (репродукция снимка в публикации R. Nahtigal: *Euchologium Sinaiticum I*, Ljubljana 1941)

4. Ассеманиев кодекс, рукопись начала XI в. (репродукция снимка в публикации J. Vajs — J. Kurz: *Evangeliarium Assemani*, Prague 1929)

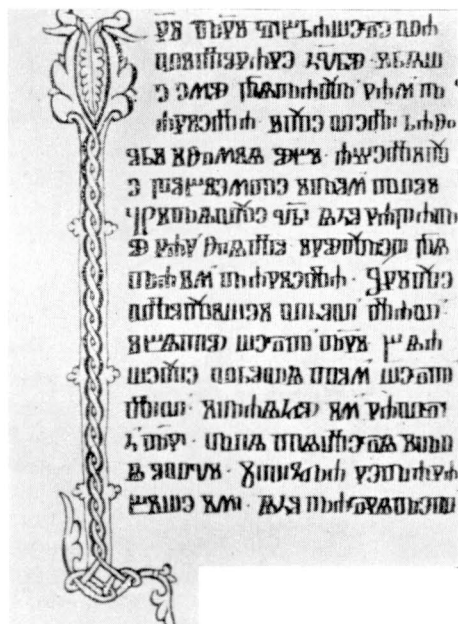
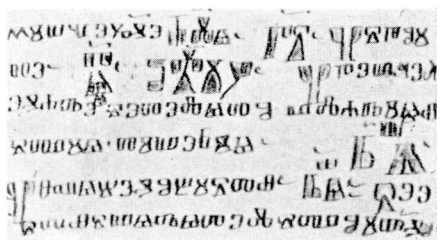


III. Примеры глаголического письма хорватского типа



5. Венские глаголические отрывки, рукопись XII в. (репродукция снимка в публикации J. Vajs: *Rukověť hlaholské paleografie*, Praha 1932)

6. Лондонский глаголический отрывок, рукопись XII—XIII вв. (репродукция снимка в публикации J. Vajs: *Rukověť hlaholské paleografie*, Praha 1932)



7. Ватиканский миссал, рукопись начала XIV в. (репродукция снимка в публикации J. Vajs: *Rukověť hlaholské paleografie*, Praha 1932)

IV. Пример глаголического письма чешского типа



8. Пражские глаголические отрывки, рукопись XI в. (репродукция снимка в публикации J. Vajs: *Rukověť hláholské paleografie*, Praha 1932)

вопрос со всей уверенностью; оценка этого явления, как дальнейшего существования великоморавской традиции в древнеславянском литературном языке Чехии Пржемысловичей, однако, остается, по крайней мере, возможностью.

В этом параграфе мы наметили, каким образом могли проявиться связи древнеславянского литературного языка чешского извода с великоморавским изводом и в более поздних списках памятников чешского происхождения. В большинстве случаев доказательства не совершенно прочны и однозначны, кроме того ощущается отсутствие подготовительных работ, в которых этот вопрос был бы поставлен именно таким образом. Но и на основании нескольких скудных примеров, использованных нами в целях иллюстрации, которые пока что можно привести, складываются хотя бы основные контуры того же развития, совершенно убедительно засвидетельствованного языковым анализом памятников, относящихся своими рукописями к Чехии (см. § 4): древнеславянский литературный язык чешского извода имел своим основанием древнеславянский литературный язык великоморавского извода.

Это — первое языковое доказательство непрерывной преемственности старославянской письменной традиции в Великой Моравии и в Чешском княжестве.

7. Второе языковое доказательство содержится уже не в старославянском, а в самом чешском языке. Как было установлено, появляются не только слова и выражения старославянского происхождения в древнечешских переводах библии — куда они перешли, вероятно, под влиянием традиций устной речи — (напр. *prvenec, prvěnc, hramotina, přesnicě, biser* и т. п.)⁸⁷, но значительная часть чешской христианской религиозной терминологии вообще с древнейших времен обща для чешского и древнеславянского. При этом, с одной стороны, это слова местного происхождения, или образованные от чешских слов-основ, напр., *blažoslaviti, div, duch (svatý), duše, Hospodin, hřiech, |po|káti |sě|, licoměrný, milosrdie, milosrdný, milostivý, modliti se, modlitva, mučeník, naděje, nebe, nebeský, odpustiti, spas, spásti, svatý, smilovati se, trojicě, tvořec, |s|tvořiti, stvoření, učeník, viera, všemohůci, zpověď, zповiedati se, zповědník, zvoleník* и т. п., с другой стороны, слова, заимствованные из иностранных языков, как *póst, postiti se, pop, sobota, kmotr, kolada, křest, křstíti, křstítel, kříž, mnich, mšz, oltář, papež, pohan, prorok* и т. п. Эта своеобразная общность старославянской и чешской религиозной терминологии возникла, очевидно, таким образом, что древнеславянский литературный язык отчасти обогатился из живого источника чешского языка (напр., в случае слов как *chrám, modliti se* или слов, заимствованных из немецкого, и некоторых, заимствованных из латыни). С другой стороны, мы должны, конечно, принимать во внимание и обратное течение и признать, что древнеславянский влиял на процесс создания чешской религиозной терминологии, или в форме прямых заимствований или путем стабилизации некоторых домашних языковых средств в значении специальных терминов.⁸⁸ Решить вопрос о происхождении каждого отдельного общего слова невозможно. Относительно многочисленная группа этих лексических совпадений, представляющая полных 75 % чешской христианской терминологии,⁸⁹ содержит, однако, несомненно, значительное количество чешских

слов, происходящих из древнеславянского литературного языка. Наличие целого слоя самых основных религиозных терминов вряд ли можно считать более поздним наслоением. В самом деле, мало правдоподобно, что группа таких основных терминов, как одно целое, смогла бы вытеснить и заменить группу других терминов для тех же понятий, которая должна была бы существовать до нее — надо учесть, что это были выражения, нужные с самого начала распространения христианской веры и идеологии. Древнеславянский литературный язык, как источник таких терминов, должен был быть известен в Чехии уже на начальном этапе ее христианизации.

Заключение о большой древности старославянской и чешской религиозной терминологии поддерживают и некоторые факты, вытекающие из сравнения. Богемизмы и богемизированные церковнославянизмы проявляются как выразительная составная часть польской и сербо-лужицкой религиозной терминологии.⁹⁰ В отношении времени, когда эти термины проникли в польский и серболужицкий языки, правда, нет единства, но в последнем исследовании Фринты получило сильную поддержку мнение, что „христианство пришло в обе Лужицы сначала из Чехии, несомненно уже в X в., еще до немецкой колонизации южной окраины Лужицы и чешских Судет, перед стабилизацией Мейсенского церковного административного управления. (Епископство в городе Мейсене возникло в 968-ом г. и церковь в Церквике упоминается в Нижней Лужице уже в 964-ом году!)“ (41). На основании языкового анализа серболужицкой религиозной терминологии Фринта заключает, что и „немецкая церковная организация, основанная в конце X века на мейсенском епископстве, должна была при распространении и укреплении христианства среди славянского народа Верхней и Нижней Лужицы строить свою деятельность на языковом субстрате, который на этой территории существовал уже продолжительное время и вошел в обиход у лужицких сербов в результате предшествовавшей религиозно-миссионерской деятельности, исходившей из Чехии“ (37, 38). Эту трактовку, которая может быть принята только при предположении давнего существования древнеславянского литературного языка в Чехии, одобряет в рецензии исследования Фринты, в сущности, и И. Курц и показывает даже, что в некоторых случаях можно было бы искать источник серболужицких терминов в еще более далеком прошлом, может быть, прямо в великоморавской эпохе.⁹¹ Если бы подтвердилась правильность этой предположки, было бы опять-таки необходимо считаться с Чехией как со связующим звеном между Великой Моравией и Лужицей еще при жизни Мефодия или вскоре после его кончины.

Отголоски старославянской культуры и ее византийских источников сохранены также в некоторых собственных именах в Чехии, как, например, в имени первого аббата сазавского монастыря — Прокопа или в названиях мест *Cirkvice*, *Cerekvice* на территории старых земель Славниковичей (владения которых лежали в прямом соседстве Моравии).⁹² Собственные имена этого типа могли бы, конечно, проникнуть в чешский язык и в том случае, если бы старославянская письменность проникла в Чехию позже, после прерывания традиций языка Великой Моравии. Но в этом отношении характерны имена *Kliment* и, кроме того, *Dimitr*, *Dmitr*, засвидетельствованные для чешской терминологии еще в XIII в. и образованные от них мест-

ные названия *Mitrov, Mitrovice*⁹³. В первом случае речь идет об имени святого, мощи которого Константин и Мефодий перенесли с Херсонеса в Рим и который пользовался в Моравии большим почетом. Во втором случае речь идет о покровителе г. Солунь — места рождения Константина и Мефодия, память которого в Великой Моравии также почиталась, как засвидетельствовано замечанием в Житии Мефодия и Каноне в его честь, созданным в Великой Моравии.⁹⁴ Итак, названные нами чешские имена иллюстрируют связь Чехии с культурной атмосферой Великой Моравии периода деятельности Кирилла и Мефодия.

Следы, оставленные старославянской письменностью в чешском языке в отдельных случаях своего проявления сложны и туманны, как что касается генезиса вообще, так и что касается их датировки. Но как комплекс явлений они дают ясное свидетельство, так что на них с полным правом можно сослаться как на доказательство большей давности славянского богослужения в Чехии и его прямой преемственности с эпохой Великой Моравии.

8. Кроме языковых причин, в пользу прямой преемственности между чешско-старославянской и великоморавской образованностью говорят также некоторые факты литературы. Автор данной статьи более подробно рассмотрел их и дал их оценку в самостоятельной статье;⁹⁵ поэтому здесь будет дан только краткий итог.

Чешскую церковнославянскую образованность связывает с великоморавской весьма характерным образом вся ее общекультурная направленность.⁹⁶ В письменности Великой Моравии сильно отразился, прежде всего, византийский элемент; завещание византийского мира наложило прочную печать на идейную и формальную ткань литературной продукции Великой Моравии. Это сказалось, например, в переводах литургических текстов того типа, который в рукописном виде представлен Синайским служебником и отчасти также Синайским требником, в переводах юридических текстов — номоканона из византийской Синагоги Иоанна Схоластика и Закона судного людям, — из византийской Эклоги, — в зависимости идеологического фона и изобразительных средств и приемов от опыта византийской литературы в оригинальных произведениях, даже таких, как, напр., Житие Мефодия, и др.⁹⁷

Но наряду с этой „византийской“ линией проходит великоморавскую письменную культуру также „римская“, латинская линия. Наиболее выразительным и по времени создания наиболее значительным ее явлением был великоморавский перевод литургических текстов западного обряда, представленных рукописью Киевских листков, глаголическими Венскими отрывками, хорватским глаголическим каноном служебника и некоторыми статьями порядка мессы.⁹⁸ Но следы латинской образованности нашли отражение и в великоморавских юридических текстах, напр. в Законе судному людям, в котором смягчаются суровые наказания византийского образца и заменяются епитимийными наказаниями по западным условиям,⁹⁹ или же в переводе с латыни пенитенциала „Zapovědi svętyichъ отьсь“, засвидетельствованном в Синайском требнике.¹⁰⁰

И та же самая, весьма своеобразная двойная линия в культурно-идеологическом типе старославянского литературного творчества проявляется

и на территории Чехии Пржемысловичей. Здесь же первостепенную роль играл, конечно, латинский, римский элемент, засвидетельствованный рядом переводов с латинского языка (как, напр., Беседы папы Григория Великого, Житие св. Вита, Житие св. Бенедикта, апокриф-евангелие Никодема), так и литургическими текстами по римскому обряду, т. наз. Службами Кириллу и Мефодию. Но здесь присутствует и гораздо менее ожидаемый византийский элемент, или в форме церковнославянских гимнов, переведенных с греческого (Пражские глаголические отрывки), или молитв по случаю пострижения волос и следов похоронных молитв в Первом старославянском житии св. Вячеслава,¹⁰¹ или наконец, в форме самостоятельного литературного произведения, каким было создание Канона в честь св. Вячеслава, точно по византийским моделям.¹⁰²

Поучительным документом синтеза римского и византийского течения в чешской церковнославянской культуре может послужить самое странное старославянское произведение чешского происхождения — Беседы на евангелие папы Григория Великого. По установлению Ф. В. Мареша, в них, с одной стороны, соблюдается чешско-церковнославянское звучание общих концовых молитв по западному обряду, но, с другой стороны, в них засвидетельствованы также выражения и обороты, хорошо известные по часто употребляемым текстам литургии восточного обряда, что могло бы обозначать (наряду с существованием Пражских глаголических отрывков), что в Чехии пользовались также восточным обрядом;¹⁰³ Мареш на основании некоторых явлений даже заключает, что переводчик Бесед был ознакомлен и с греческим.¹⁰⁴

Наверное, не было бы в принципе невозможным, чтобы тесное родство великоморавской и чешской церковнославянской образованности в общем культурном характере и общей направленности возникло самостоятельно, в результате параллельного развития. Но общественное, политическое и культурное положение в Чехии около 1000 г. было все же существенно другим, чем положение Великой Моравии и в архиепископстве Мефодия почти полтора века назад, так что аналогию тесного симбиоза, взаимного переплетения „византийского“ и „римского“, или более обобщенно сказано, восточного и западного культурного типа легче будет объяснить генетически, тем обстоятельством, что в Чехии продолжали развиваться традиции, начало которых было положено в Великой Моравии.

Но связи церковнославянской письменности Великой Моравии и Чехии не ограничиваются только идейной сферой, а проявляются в совершенно конкретных особенностях текстов. Дословные цитаты из великоморавских памятников Житие Константина и Похвала Кириллу в произведениях, созданных в Чехии (в Службах Кириллу и Мефодию), дают надежное свидетельство о том, что эти великоморавские произведения были в употреблении и в Чешском княжестве.¹⁰⁵ Также в библейских цитатах чешского памятника Беседы на евангелие папы Григория Великого отражается редакция текста, не затронутая еще ранней болгарской или хорватской переделкой, которые сказались на библейских текстах вне великоморавской территории после смерти Мефодия¹⁰⁶. Совпадения с древнейшими текстами евангелий, в особенности с Зогра и Мар, установил также в случае библейских цитат в Первом старославянском житии св. Вячеслава М. Вейнгарт, хотя более детального анализа и дифференциации первоначального

великоморавского текста от возможной более поздней болгарской редакции он не дал.¹⁰⁷ Но в общем можно предположить, что в Чехии Пржемысловичей находились в употреблении библейские тексты, созданные непосредственно в Великой Моравии.

Наличие памятников великоморавского происхождения в Чехии могло бы, конечно, быть истолковано и так, что они сюда были перенесены в более позднее время с болгарской или хорватской территории.¹⁰⁸ Но эта трактовка встречается с серьезными возражениями. Кроме выше изложенных языковых причин, которые являются основным препятствием на пути признания теорий о болгарском или хорватском источнике церковнославянской письменной культуры в Чехии, эти теории опровергаются еще другими аргументами.

Признанию „болгарской“ теории мешает тогдашнее положение в церковной организации в Чехии. Если Кралик в цит. статье говорит о том, что отношения Чехии и Болгарии в X в. отражаются в произведении Кристиана реминисценциями о Болгарии и в совпадениях отдельных мотивов с Житием Наума, произведением болгарской литературы X в., то в самом деле перед нами в лучшем случае свидетельство именно только об отношениях между центрами письменной образованности, об отношениях, о которых мы, кроме этого, не знаем ничего более подробного и которые могли иметь только случайный характер. Но вряд ли можно на основании этих явлений сделать заключение, что церковнославянская письменная образованность была из Болгарии перенесена в Чехию и там в конце X в. внедрена как нововведение — в период незадолго до раскола в церкви и на территории епископство которой, организованное незадолго до этого, было прочно включено в организационную структуру римской церковной администрации как часть архидиоцеза с центром в г. Майнце.

Кроме того, против болгарского происхождения старославянской письменной образованности в Чехии свидетельствует и характер письма. Не вдаваясь в подробности, напомним, что глаголица древнейшего типа, как она сохранилась в Киевских листках, представляет письмо немного продолговатое, которое нельзя полностью охарактеризовать ни как округлое, ни как угловатое. Последующее ее развитие шло по двум противоположным направлениям: на болгарско-македонской территории в большей мере проявилась тенденция к округлости, в результате чего возникла округлая глаголица, между тем как на хорватской территории выдвинулись на первый план неокруглые элементы первоначальной глаголицы и, таким образом, возник угловатый тип. Пражские глаголические отрывки, единственная рукопись, возникшая в Чехии, не продолжают ни болгарскую, ни хорватскую линию развития, а непосредственно традиции письма Киевских листков; с письмом этого памятника сближает письмо Пражских глаголических отрывков то, что оно представляет собой еще устав (между тем как письмо болгарско-македонских памятников уже развилось в т. наз. полуустав), а кроме того, и некоторые частные совпадения формы и почерка отдельных букв и их общего репертуара. Но ни в коем случае письмо Пражских глаголических отрывков не продолжает линию округлых форм глаголицы болгарско-македонских памятников; наоборот, в нем скорее преобладают элементы плоскости, куцости и угловатости, так что, по словам И. Вайса, „благодаря всем этим чертам оно приобретает характер

какой-то корявости и закостенелости, которая наблюдается в хорватских глаголических памятниках¹⁰⁹ (ср. приведенные фотокопии с древнейших рукописей).

Казалось бы, что вся историческая обстановка благоприятствовала бы в общем, скорее, признанию „хорватской“ теории происхождения церковнославянской образованности в Чехии; но этой теории противоречат некоторые явления литературы. Прежде всего, было бы необходимо каким-нибудь образом объяснить „византийскую“ направленность старославянской литературной продукции, возникшей в Чехии (см. выше); принятию этой теории препятствует также отсутствие текстов великоморавского происхождения, которые были, как доказано, в употреблении в Чехии (Житие Константина и Похвала Кириллу), в хорватских рукописях (конечно, за исключением именно приведенных цитат в Службах Кириллу и Мефодию, которые были созданы в Чехии).

Литературные (и исторические) данные сами по себе не обладают достаточной силой аргументации и точностью для того, чтобы совершенно однозначно и не оставляя сомнений исключили возможность болгарского или хорватского происхождения церковнославянской письменной образованности в Чехии. Но весь комплекс вопросов и проблем этого порядка наиболее легко будет изложить, если в области старославянской литературной продукции признать наличие прямой преемственности между Великой Моравией и Чешским княжеством. Следовательно, литературные факты дают решение, совпадающее с языковыми данными. Их комплекс является прочным доказательством великоморавских источников старославянской письменной образованности в Чешском княжестве.

9. Итоги. При решении вопроса о наличии прямой преемственности церковнославянской письменной образованности в Великой Моравии и в Чешском княжестве имеют силу главного аргумента прежде всего языковые факты. Анализ древнеславянского литературного языка чешского извода доказывает, что его основой был древнеславянский великоморавского извода, подвергшийся на чешской территории дальнейшей богемизации; также отсутствие единого адстрата, относящегося к другим славянским областям, который лежал бы в основе всех памятников, восходящих по своим рукописям к Чехии, исключает возможность, что употребление литературного языка могло бы проникнуть в Чехию с какой-нибудь другой славянской территории. Кроме того и следы, оставленные древнеславянским языком в чешском — т. е. основной слой самых необходимых религиозных терминов, — свидетельствуют о его наличии в Чехии уже в те времена, когда христианство здесь еще только начинало распространяться.

Связи между церковнославянской великоморавской и чешской образованностью сказываются также в фактах литературы. Церковнославянская письменность в Чехии связана с Великой Моравией специфическим двояким направлением ее общей культурной ориентации и стремлением к сосуществованию и синтезу обоих течений — восточного (византийского) и западного (латинско-немецкого). Употребление литературных памятников великоморавского происхождения в Чехии раннего средневековья можно также наиболее удобно изложить как непосредственное наследство из Великой Моравии.

Весь этот комплекс филологических аргументов представляет собой веские факты для признания непрерывной связи церковнославянской письменной образованности в нашей стране с ее начала при Кирилле и Мефодии в Великой Моравии вплоть до ее конечной стадии в Сазавском монастыре в конце XI в.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ср. прежде всего его этюд *Церковнославянские тексты моравского происхождения* (Русский филологический вестник 43, 1900, 150—217); ср. также его же анализы и издания текстов *Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии* (Сборник Отд. русс. яз. и слов. 88, 1910); *Мучение св. Вита в древнем церковнославянском переводе* (Изв. Отд. русс. яз. и слов. АН 8/2, 1903, 278—296); *Житие преп. Бенедикта Нурсийского по сербскому списку XIV века* (Изв. Отд. русс. яз. и слов. АН 8/2, 1903, 121—137); и др.

² Ср. синтетические обзоры, которые дали, напр., V. Chaloupecký: *Slovanská bohoslužba v Čechách, její politický, kulturní i historický význam* (Svatováclavský sborník II/2, Praha 1939, 401—455); J. Vašica: *Slovanská bohoslužba v českých zemích*, Praha 1940; M. Weingart: *Československý typ církevní slovančiny*, Bratislava 1949. Достижения филологической науки 20-го века в области ст.-сл. письменной культуры в Чешском княжестве в настоящее время почти общеприняты, ср., напр., Fr. Gríves: *Slovanska kňagovestníka sv. Ciril in Metod*, Celje 1963, 210—213; V. Stefanič: *Tisuću i sto godina od moravske misije* (Slovo 13, 1963, 5—42, о ст.-сл. литературе на чешской почве 28—30). Совершенно изолированным осталось в современной науке предельно скептическое отношение И. Хамма к объему и значению ст.-сл. литературы в Чехии; по Хамму несомненными фактами ст.-сл. письменности в Чехии являются только Киевский миссал, Пражские глаголические отрывки и Сазавский монастырь, в котором был в применении южнорусский д.-сл. памятник кирилловского письма — Реймское евангелие. Все остальные факты — даже возникновение на чешской территории X-го — XI-го вв. 1-го ст.-сл. жития св. Вячеслава — он ставит под сомнение (см. J. Hamr: *Hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika*, Slovo 13, 1963, 43—67; о чешской д.-сл. литературе 46—49).

³ *Dějiny české literatury I*, Praha 1959, 29—57; *Slovník jazyka staroslověnského 2, Úvod*, Praha 1959, LXII—LXX, LXXI—LXXIII.

⁴ Эту преемственность современная славистика в большинстве случаев считает несомненным фактом, но скептическую точку зрения к ней занял за последнее время F. M. Bartoš: *O Dobrovského pojetí osudů slovanské bohoslužby* (Historický sborník, Praha 1953, 7—26), доверяющий лишь в существование сазавского центра церковнославянской культуры в Чехии XI века. Определенные сомнения на счет непрерывности литературной традиции в Великой Моравии и в Чехии высказал также О. Кралик, подчеркивающий ренессанс церковнославянской литературы в Чешском княжестве во время епископа Войтеха (конец X века), ср. его работы *K počátkům literatury v přemyslovských Čechách*, Praha 1960; *Sázavské písemnictví XI. století*, Praha 1961 (к этому ср. рецензию R. Vešerka, *Listy filologické* 85, 1962, 190—193); *Крепление Борживоя и вопрос о непрерывности старославянской литературы в Чехии* (Труды Отдела древней русской литературы XIX, Москва—Ленинград 1963, 148—168); *Cyrilometodějské dědictví a sázavské písemnictví* (Přspěvky ke starší literatuře na Moravě, Brno 1964, 12—20). Историю взглядов на данный вопрос в научной литературе с конца XVIII-го в. дает Я. Лудвиковский в этом сборнике 525—566.

⁵ См. *Slovník jazyka staroslověnského 2*, Praha 1959, LXII и сл.; V. Chaloupecký: *Slovanská bohoslužba v Čechách* (Věstník ČAVU 59, 1950, 65—80); Халоупецки полагает, что большинство известных памятников чешско-церковнославянской литературы возникло в X веке (цит. статья 69 и 77).

⁶ Здесь надо согласиться с замечанием О. Кралика, что много памятников, дошедших до нас в поздних списках, не поддается точной датировке (Труды Отдела древней русской литературы XIX, 1963, 200).

⁷ Резюме дает M. Weingart: *Československý typ církevní slovančiny* 51—54.

⁸ См. О. Кралик — помимо цитированных уже работ (прим. 4), ср. еще *K historii textu I. stsl. legendy ráclavské* (Slavia 29, 1960, 434—452).

⁹ См. А. Д. Багмут: *Дослідження російськими і українськими мовознавцями фонетичних і лексичних особливостей Київських листків і Празьких уривків у зв'язку з питанням про походження цих пам'яток* (Слов'янське мовознавство 2, 1958, 251—276); Т. Б. Лукинова: *До характеристики Київських глаголических листків (словотвір)* (Слов'янське мовознавство 4, 1962, 33—44); Ф. В. Мареш: *Древнеславянский литературный язык в Великоморавском государстве* (Вопросы языкознания 1961, № 2, 12—23).

¹⁰ См. V. Tkadlčík: *Troj hláholské i v Kyjevských listech* (Slavia 25, 1956, 200—216).

¹¹ F. V. Mareš, *Byzantinoslavica* 24, 1963, 164.

¹² См. V. Tkadlčík, *Slavia* 32, 1963, 345; R. Večerka, *Slavia* 32, 1963, 413—414.

¹³ F. Trávníček: *Glosy Jagičovy a svatořehořské* (Slovanské studie, Praha 1948, 164 až 168, особенно стр. 167).

¹⁴ E. Pauliny: *K věku Jagičových a Paterových glos* (Slavia 28, 1959, 20—28).

¹⁵ F. V. Mareš: *Domnělé doklady české přehlásky a > e v církevněslovanských textech (typ dělení gen. sg.)* (Slavia 28, 1959, 132—140).

¹⁶ См. *Historická mluvnice česká I*, М. Комáрек: *Hláskosloví*, Praha 1962, 65—66; A. Lamprecht, D. Šlosar: *Vývoj českého hláskosloví a tvarosloví*, Praha 1962, 47; St. Rospond: *Wybrane zagadnienia glosowni staroczeskiej* (Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 15A, 1960, 34—44).

¹⁷ См. N. Trubetzkoy: *Altkirchenslavische Grammatik*, Wien 1954, напр., 23 и др.; V. Tkadlčík, *Slavia* 32, 1963, 347.

¹⁸ См. А. П. Жуковская: *Об объеме первой славянской книги, переведенной с греческого Кириллом и Мефодием* (Вопросы славянского языкознания 7, 1963, 73—81). Намного больший объем переводческой деятельности Кирилла и Мефодия до их путешествия в Великую Моравию предполагает К. М. Куев: *Към въпроса за началото на славянската писменост* (Годишник на Софийския университет, филол. факултет, т. 54/1, София 1960, 1—108). И, наоборот, Ю. Шевелов излагает известные слова Жития Константина о переводе „беседы евангельской“ таким образом, что Константин перевел в Византии лишь первый стих (или, по крайней мере, только незначительное количество вступительных стихов) евангелия Иоанна и на этой основе обработал коротенькое „слово“, гомилию (т. е. „беседу“) для проверки своих способностей писать на славянском языке; настоящая литературная деятельность Константина и Мефодия началась, по Шевелову, только в Великой Моравии (*The Slavonic and East European Review* XXXV, 85, 1957, 393—394). Традиционная предпосылка о возникновении целого евангелия-апракос уже в Византии подкрепляется однако тем, что с времен Ягича уже несколько раз были установлены различия между перикопами евангельских чтений и дополнительными (комплеторными) текстами в отношении языка (т. е. словарного состава и грамматического строя) и техники перевода, см. напр. V. Vondrák: *O církevněslovanském překladi evangelia v jeho dvou různých částech a jak se nám zachoval v hlavnějších rukopisech* (Daničičev zbornik, Beograd—Ljubljana 1925, 9—27); K. Horálek: *Evangeliaře a čtveroevangelia*, Praha 1954, 35—36, 41—42; L. Moszyński: *Starocerkiewno-słowiański aprakos* (Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej II, Warszawa 1957, 373—395).

¹⁹ Эту мысль высказал уже Н. Дурново: *Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов* (*Byzantinoslavica* 1, 1929, 48—85). Она, правда, сначала вызвала определенное несогласие, но постепенно приобретала все большее признание в своей общей формулировке, по которой первоначальные заместители праславянского *tj, *kt и *dj отличались в древнеславянском литературном языке древнейшего периода (т. е., собственно говоря, в „прастарославянском“ языке) от болгарских „шт“ и „жд“ — хотя пока нет единства взглядов на конкретную фонетическую реализацию данных согласных (и мы поэтому пользуемся лишь условно обозначениями k или t и ġ или d'), см., напр., N. Trubetzkoy: *Die altkirchenslavische Vertretung der urslav. *tj, *dj* (ZsPh 13, 1936, 88—97), *Aksl. Gram.* 27—28; K. Horálek: *Základy staroslověnštiny*, Praha 1954, 38—39, 48, *Úvod do studia slovanských jazyků*, Praha 1962, 366; H. G. Lunt: *Old Church Slavonic Grammar*, Leiden 1955, 18—19; W. K. Matthews: *Trubetzkoy's ѣ, ѣ and the Old Bulgarian Groups шт/жд* (Beogradski međunarodni slavistički sastanak, Beograd 1957, 485—490); С. Я. Лурье: *О некоторых слитных согласных в старославянском и древнегреческом языках* (Питання слов'янського мовознавства 5, Львів 1958, 75—87); V. Tkadlčík: *Dvě reformy hláholského písemnictví* (Slavia 32, 1963, 340—366). Но ср. также взгляд А. П. Громовой о том, что буквой ѣ обозна-

чался греческий звонкий взрывной согласный (Уч. записки Свердловского педагогического института 16, 1958, 231—236; работа Громовой осталась мне недоступной — см. о ней в библиографическом обзоре, опубликованном в Вопросах славянского языкознания 7, 1963, 162).

²⁰ О великоморавском культурном диалекте и особенно о религиозных текстах, созданных на нем в докирилло-мефодиевское время, см. A. Isačenko: *Začiatky vzdelanosti vo Vel'komoravskej ríši* (Jazykovedný zborník 1—2, 1946—47, 137—178, 265—317); J. Cibulka: *Επιούσιος — naspoštyjni — quotidianus — vezdejší* (Slavia 25, 1956, 406—415).

²¹ См., напр., J. Kurz: *Církevněslovanský jazyk jako mezinárodní kulturní (literární) jazyk Slovanstva* (Ceskoslovenské přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, Praha 1958, 13—35); A. Dostál: *Staroslověnský jazyk, jeho strukturní charakteristika a lokální typy* (Ceskoslovenské přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii, Praha 1963, 11—28).

²² См. V. Tkadlčík: *Dvě reformy hlaholského písemnictví* (Slavia 32, 1963, 340—366).

²³ Корни хорватско-глаголической литературы до сих пор в достаточной степени не освещены. Помимо болгарской струи в ней содержались, по всей вероятности, также следы более древних истоков, восходящие к Великой Моравии, см. J. Kurz: *O nově nalezeném charvátskohlaholském zlomku žaltáře* (Slavia 22, 1953, см. обзор литературы на стр. 102, прим. 12). В отношении языка, однако, основной характер хорватско-глаголической литературной продукции определил древнеславянский литературный язык болгарско-македонского типа (см. K. Horálek: *Kořeny charvátsko-hlaholského písemnictví*, Slavia 19, 1949—50, 285—293; V. Tkadlčík, Slavia 32, 1963, 364).

²⁴ Анализ Фрейзингенских отрывков дает A. V. Isačenko: *Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok*, Bratislava 1943. Место древнеславянского литературного языка словенского извода среди других изводов хорошо представлено в схеме, приводимой в публикации K. Horálek, J. Kurz, A. Dostál: *Základy staroslověnské mluvnice*, Praha 1962, 6.

²⁵ См., напр., A. Vaillant: *Manuel du vieux slave I*, Paris 1948, 14; N. Trubetzkoy: *Aksl. Gram.* 86—89.

²⁶ Ф. В. Мареш: *Древнеславянский литературный язык в Великоморавском государстве* (Вопросы языкознания 1961, № 2, 12—23).

²⁷ Об этом см. подробнее статью A. Лампрехта и М. Чейки в этом сборнике 461—468.

²⁸ Это, впрочем, засвидетельствовано совсем единично также в канонических памятниках, в общеизвестных примерах, как *rozъstvo* (Мар, Клоц), или *nevězestvo* (СияПС), хотя в названных памятниках в других случаях появляется последовательно болгарское -žd-.

²⁹ В Моравии, помимо этого, подверглась определенным изменениям первоначальная „балканская“ система графики и правописания, как полагает в цит. статье Ф. В. Мареш.

³⁰ Но о формах 3-го лица на -tъ Шведов полагает, что они могли восходить также к пращеской языковой среде (цит. статья 390).

³¹ И дублетные формы род. и дат. пад. ед. ч. на -ago, -umi (*věčnago, blaženumu*), по Марешу, были в языке Киевских листков закреплены благодаря своей звуковой близости к пращеским контрагированным формам на -égo, -ému (цит. статья 20).

³² См. обзорные взгляды на этот вопрос в славяноведении прошлого века в работе Н. Грунскогo: *Памятники и вопросы древнеславянской письменности 1, глаголические отрывки 3*, Юрьев 1904, и в современном славяноведении R. Večerka, Slavia 32, 1963, 411—413.

³³ Z. Stieber, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XIV, Wrocław—Kra-ków 1955, 75—76.

³⁴ George J. Shevelov; „Три“ — *type Groups and the Problem of Moravian Components in Old Church Slavonic* (The Slavonic and East European Review XXXV, 85, 1957, 379—398).

³⁵ См. выше примечание 19.

³⁶ См. выше примечание 22.

³⁷ См. R. Nahtigal: *Starocerkvenoslovanske studije* (Razprave Znanstvenega društva u Ljubljani 15, 1936, 7—20); K. Horálek: *K otázce lexikálních bohemismů v staroslověnských památkách* (Slovanské studie, Praha 1948, 115—119); Ю. Шведов, цит. статья 387.

³⁸ См. Ф. В. Мареш, Вопросы языкознания 1961, № 2, 22.

³⁹ См. A. Dostál: *Studie o vidovém systému v staroslověnině*, Praha 1954, 267, 296, 303—304, 510—511.

⁴⁰ Но нельзя совсем исключить возможность, что это — явление севернословенских говоров, см. А. В. Исаченко: *Jazyk a pôvod ...* 51.

⁴¹ См. Ф. В. Мареш, цит. статья 22.

⁴² А. Dostál: *Studie ...* 472.

⁴³ В. von Arnim: *Beiträge zum Studium der albulgarischen und altkirchenlavischen Wortbildung und Übersetzungskunst*, Berlin 1931; А. Vaillant: *Manuel du vieux slave*, Paris 1948, 195—196; К. Horálek: *Evangeliaře a čtveroevangelia* 82; L. Moszyński, *Z polskich studiów slawistycznych*, Warszawa 1958, 27—29.

⁴⁴ N. van Wijk: *Zwei Pannonismen mit od(ъ) für ot(ъ)* (ZslPh 13, 1936, 83—88).

⁴⁵ The Slavonic and East European Review XXXV, 85, 1957, 388.

⁴⁶ С. Б. Бернштейн: *Об одном чехо-моравизме в памятниках старославянского языка* (Ученые записки Института славяноведения 3, 1951, 320—327).

⁴⁷ J. Kurz: *Staroslověnské formy gen. sg. česo — čьso, ničesože — ničьsože* (Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě, Praha 1958, 18—26).

⁴⁸ В. von Arnim: *Studien zum albulgarischen Psalterium Sinaiticum*, Leipzig 1930, 263; P. Diels: *Altkirchenlavische Grammatik*, Heidelberg 1932, 214.

^{48a} См. цит. статья 390. Однако, совсем другим образом толкует приведенные формы В. Вондрак, понимающий их то как проявление сербо-хорватской языковой среды (*O původu Kijevských listů a Pražských zlomků*, Praha 1904, 43—44), то как „типичный болгаризм“ (*Altksl. Gram.*,² 1912, 460).

⁴⁹ См., напр., А. Vaillant: *Manuel ...* 124.

⁵⁰ *Slavia* 9, 1930—31, 481—485; *Rocznik Slawistyczny* 10, 1931, 140—141.

⁵¹ *Z polskich studiów slawistycznych*, Warszawa 1958, 29—31.

⁵² J. Gebauer: *Historická mluvnice jazyka českého III/2*, Praha 1909, 83—84.

⁵³ См. критическое замечание Ф. Копечного в сборнике материалов археологической конференции Grossmähren (в печати).

⁵⁴ V. Šmilauer: *Slovenské strídnice jerové a změna e, ě > a, o*, Praha 1930, 61.

⁵⁵ Цит. статья 388.

⁵⁶ См. А. В. Исаченко: *Jazyk a pôvod ...* 24—25.

⁵⁷ L. Moszyński, *Z polskich studiów ...* 31—33.

⁵⁸ Их обозрение дали J. Stanislav: *Dnešný stav otázky československých prvkov v staroslovienských pamiatkach* (Riša Veľkomoravská, Praha 1933, 491—532); O. Jansen (R. Jakobson): *Český podíl na církevněslovanské kultuře* (Co daly naše země Evropsé a lidstvu, Praha 1940, 9—20); J. Stanislav: *O prehodnotenie veľkomoravských prvkov v cyrilometodskej literatúre* (Сборник в чест на акад. А. Теодоров-Балан, София 1955, 357—363).

⁵⁹ См. К. А. С. Höfler, P. J. Šafařík: *Glagolitische Fragmente*, Prag 1857.

⁶⁰ См., напр., М. Weingart: *Československý typ církevnjej slovančiny* 68—76, обзор литературы на стр. 129—130; А. Багмут: *Дослідження ...* (Слов'янське мовознавство 2, 1958, 251—276).

⁶¹ Это место, однако, неясно и И. Курп читает здесь *prěpol ... enie* (Weingart, Kurz: *Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského*, Praha 1949, 146).

⁶² См. F. V. Mareš: *Pražské zlomky a jejich předloha v světle hláskoslovného rozboru* (*Slavia* 19, 1949—50, 54—61).

⁶³ В издании Weingart, Kurz: *Texty ...* 149 последние две буквы первого слова неясны: *drěv*.

⁶⁴ См. А. Patera: *České a starobulharské glossy XII. století v latinském rukopise Kapitulu knihovny v Praze* (Cas. Mus. Král. Ces. 52, 1878, 536—557).

⁶⁵ V. Jagić: *Kirchenlavisch-böhmische Glossen Saec. XI.—XII.*, Wien 1903, 33.

⁶⁶ F. Trávníček: *Glosy Jagičovy a svatořehořské* (*Slovanské studie*, Praha 1948, 164—168).

⁶⁷ E. Pauliny: *K věku Jagičových a Paterových glos* (*Slavia* 28, 1959, 20—28).

⁶⁸ J. Hamm: *Glose u Radonovej bibliji* (*Slovo* 1, 1952, 19—33).

⁶⁹ М. Bauerová: *Staroslověnské spojky bo, *nebo, neboň a ibo* (*Studie ze slovanské jazykovědy*, Praha 1958, 93—101).

⁷⁰ J. Bauer: *Slovanské spojky s -bo* (*Studie ze slovanské jazykovědy*, Praha 1958, 79—92).

⁷¹ См. J. Bauer: *Vývoj českého souvětí*, Praha 1960, 156, 308—309, 327, 332—334; J. a M. Bauerovi: *Staroslověnské ašte* (*Slavia* 26, 1957, 157—179).

⁷² *Slovník jazyka staroslověnského* 3, Praha 1959, 66.

⁷³ И. И. Срезневский: *Материалы для словаря древнерусского языка I*, Москва 1893, столб 33.

⁷⁴ См. J. Gebauer: *Historická mluvnice jazyka českého I*, Praha—Viedeň 1894, 290.

⁷⁶ Они проявляются еще другим образом; Мареш, напр., обнаруживает интересные свидетельства того, что Праж. глаг. отр. являются копией с оригинала, написанного кирилловским письмом (Slavia 19, 1949—50, 59—60); русский оригинал ПГО признает также Б. Гавранек (Velká Morava, Praha 1963, 93).

⁷⁶ V. Jagić: *Die Entstehungsgeschichte der altkirchenslavischen Sprache*, Berlin 1913, 477, 478.

⁷⁷ F. Grivec: *Konstantin und Method, Lehrer der Slaven*, Wiesbaden 1960, 248, 252—253.

⁷⁸ См. M. Weingart: *První česko-církevněslovanská legenda o svatém Václavu*, Praha 1934, 217, 142.

⁷⁹ См. F. V. Mareš, Slavia 32, 1963, 434—437.

⁸⁰ См. M. Weingart, цит. произведение 142.

⁸¹ Slavia 32, 1963, 436.

⁸² Она не засвидетельствована в словарях ни у Миклошича, ни у Даничича, ни у Срезневского.

⁸³ Slavia 32, 1963, 423.

⁸⁴ См. *Slovník jazyka staroslověnského I*, Praha 1958, 27.

⁸⁵ F. V. Mareš: *Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty* (Slavia 25, 1956, особенно 459—460).

⁸⁶ Slavia 32, 1963, 127—128.

⁸⁷ См. B. Havránek: *Vývoj spisovného jazyka českého* (Československá vlastivěda, řada II, Praha 1936, 11).

⁸⁸ См. V. Flajšhans: *Náš jazyk mateřský*, Praha 1924, 117—118; B. Havránek: *Vývoj ...* 15—16; E. Čech: *Učeník — mučeník — zvoleník* (Slovanské studie, Praha 1948, 174—181).

⁸⁹ См. E. Čech, цит. статья 174.

⁹⁰ См. G. Klich: *Polska terminologia chrześcijańska*, Poznań 1927; A. Frinta: *Bohemismy a paleoslovenismy v lužickosrbšké terminologii křesťanské a jejich dějepisný význam*, Praha 1954.

⁹¹ Slavia 24, 1955, 524—526.

⁹² См. M. Weingart: *Čs. typ ...* 64.

⁹³ См. V. Flajšhans: *Náš jazyk mateřský* 114; F. Trávníček: *Slovanské základy spisovně češtiny* (Slovanství v českém národním životě, Brno 1947, 79—92); A. Profous: *Místní jména v Čechách III*, Praha 1951, 97—98.

⁹⁴ Текст болгарской редакции канона с его анализом и с обзором специальной литературы о нем публикует Б. Ст. Ангелов: *Из старата българска, руска и сръбска литература*, София 1958, 19—35.

⁹⁵ R. Večerka: *Velkomoravská literatura v přemyslovských Čechách* (Slavia 32, 1963, 398—416).

⁹⁶ См. J. Kurz: *Slovanské základy naší vzdělanosti* (Slovanství v českém národním životě, Brno 1947, 9—19).

⁹⁷ Синтетическую картину эпохи в более широких политических и культурных рамках дает F. Dvorník: *Les Slaves, Byzance et Rome au IX^e siècle*, Paris 1926. Дальнейшие связи литературного порядка представлены в работе J. Kurz: *Význam činnosti slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje v dějinách slovanské kultury* (Slavia 32, 1963, 309 до 326); из более специальных работ по отдельным проблемам см. J. Vašica: *Origine cyrillo-méthodienne du plus ancien code slave dit „Zakon sudnyj ljudem“* (Byzantinoslavica 12, 1951, 154—174 — но иначе М. Андреев: *Является ли „Закон судный людям“ древнеболгарским памятником?*, Славянский архив 1959, 3—22, цитировано по статье J. Vašica: *K otázce původu Zákona sudného ljudem*, Slavia 30, 1961, 1—19); J. Vašica: *Metodějův překlad nomokanonu* (Slavia 24, 1955, 9—41); F. Grivec: *Cyrillo-Methodiana II. O Metodově nomokanonu* (Slovo 6—8, 1957, 34—45); F. Dvorník: *Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance*, Prague 1933; V. Vavřínek: *Staroslověnské životy Konstantína a Metoděje a panegyriky Řehoře z Nazianzu* (Listy filologické 85, 1962, 96—122); V. Vavřínek: *Staroslověnské životy Konstantína a Metoděje*, Praha 1963.

⁹⁸ См. J. Vašica: *Slovanská liturgia nově osvětlená Kijevskými listy* (Slovo a slovesnost 6, 1940, 65—77); J. Vašica: *Slovanská liturgie sv. Petra* (Byzantinoslavica 8, 1939—46, 1—54); D. Čiževskij: *K voprosu o liturgii sv. Petra* (Slovo 2, 1953, 37—41); M. Weingart: *Hlaholské listy vídeňské* (Casopis pro moderní filologii 24, 1938, 105—129, 233—245);

J. Vajs: *Kánon charvátsko-hlaholského misálu Illir. 4. Protějšek hlaholských listů Kijevských* (Časopis pro moderní filologii 25, 1939, 113—134); J. Vajs: *Mešní řád charvátsko-hlaholského misálu Illir. 4 a jeho poměr k moravsko-panonskému sakramentáři stol. IX.* (Acta Acad. Velehradensis XV/2, 1939, 89—141).

⁹⁹ См. И. Вашица: *Кирилло-мефодиевские юридические памятники* (Вопросы славянского языкознания 7, 1963, 12—33); J. Vašica: *Právní odkaz cyrilometodějský* (Slavia 32, 1963, 331—339).

¹⁰⁰ R. Nahtigal: *Euchologium Sinaiticum II*, Ljubljana 1942, 319—330, 376—377.

¹⁰¹ См. J. Frček: *Byl sv. Václav postřízen podle ritu východního či západního?* (Slovanské studie, Praha 1948, 144—158).

¹⁰² R. Večerka, *Slavia* 32, 1963, 410, 414—416; см. также F. Grivec: *Slovanska blagovestnika sv. Ciril in Metod*, Celje 1963, 211.

¹⁰³ См. F. V. Mareš: *Česká redakce církevní slovanštiny v světle Besěd Řehoře Velikého* (Slavia 32, 1963, 447, 435—436).

¹⁰⁴ Ф. В. Мареш: *Греческий язык в славянских культурных центрах Чехии XI в.* (Byzantinoslavica 24, 1963, 247—250).

¹⁰⁵ См. R. Večerka, *Slavia* 32, 1963, 399—405, 406—407. Фр. Гривец даже полагает, что в Чехии из памятников великоморавского происхождения были в применении еще Житие Мефодия, Похвальное слово Кириллу и Мефодию и перевод Номоканона, и что именно отсюда названные памятники попали на русскую почву (*Konstantin und Method. Lehrer der Slaven*. Wiesbaden 1960, 187). Это мнение, правда, может быть правильным, но его никаким образом нельзя пока считать несомненным или вполне доказанным фактом.

¹⁰⁶ См. F. V. Mareš, *Slavia* 32, 1963, 444—448, 450.

¹⁰⁷ См. M. Weingart: *První česko-církevněslovanská legenda o sv. Václavu* 142.

¹⁰⁸ Так О. Кралик, который, однако, склонен скорее считать болгарскую территорию исходным пунктом церковнославянской письменной культуры в Чехии (см. Труды Отдела древней русской литературы XIX, 1963, особенно стр. 155 и 159).

¹⁰⁹ J. Vajs: *Rukověť hlaholské paleografie*, Praha 1932, 117—143; цитируемые слова на стр. 121.

VELKOMORAVSKÉ KOŘENY CÍRKEVNĚSLOVANSKÉ PÍSEMNĚ TRADICE V ČESKÉM KNÍŽECTVÍ

Resumé

Při řešení otázky, existovala-li přímá kontinuita csl. písemné vzdělanosti na Velké Moravě a v Českém knížectví, mají hlavní průkaznou sílu fakta jazyková. Rozbor stsl. jazyka české redakce ukazuje, že jeho podkladem byla staroslověnština velkomoravské redakce, která podlehlá na české půdě další bohemizaci. Rovněž nedostatek jediného jinოსловanského adstrátu, který by byl společný jazyku památek doložených rukopisně z Čech, vylučuje možnost, že by sem bylo užívání spis. jazyka proniklo z nějakého jiného slovanského území. Kromě toho i stopy, které zanechala staroslověnština v češtině v podobě základní vrstvy těch nejpotebnějších náboženských termínů, svědčí o její přítomnosti v Čechách už v dobách, kdy tu křesťanství bylo teprve v samých počátcích.

Spojnice csl. písemné vzdělanosti velkomoravské a české se dále objevují i ve faktech literárních. Csl. písemnictví v Čechách spojuje s Velkou Moravou specifická dvojdomost jeho celkové kulturní orientace a úsilí o symbiózu a syntézu obou těchto proudů — východního (byzantského) a západního (latinsko-německého). Užívání literárních památek velkomoravského původu v raně středověkých Čechách lze též nejspíše vyložit jako přímé dědictví z Velké Moravy.

Celý tento komplex filologických argumentů představuje vážné důvody pro uznání nepřetržité souvislosti církevněslovanské písemné vzdělanosti u nás od jejich cyrilometodějských počátků na Velké Moravě až po její ukončení v Sázavském klášteře v Čechách na konci 11. století.